

—◆— Асмодей Денница —◆—

# Хроники последнего века

Число Зверя



Асмодей Денница

**Хроники последнего века.  
«Число Зверя»: пришествие**

«Автор»

2026

## Денница А.

Хроники последнего века. «Число Зверя»: пришествие /  
А. Денница — «Автор», 2026

Весна 2033 года. Москва ещё живёт обычной жизнью, но из мира уже уходит то, что люди всегда считали своим: боль. Хирург Всеволод Прозоров видит под городом чертёж чужой машины. Журналист Марк Северин находит в архивах «Дело 666» — цепь странных смертей, повторяющихся раз в семь лет. Девятилетняя Аня Круглова рисует несуществующий город с двенадцатью воротами. Бывший военный врач Ирина Дежнёва узнаёт в лице гениального филантропа Симона Ланге своего исчезнувшего отца. Ланге дарит человечеству «Клеймо» — бесплатную нейроимплантацию, отключающую боль. Мир ликует. Никто не замечает, куда уходит боль. А уходит она вниз — туда, где нечто древнее, впервые за вечность накормленное досыта, начинает просыпаться. Семь печатей, четыре всадника, число 666 и зверь из моря раскрываются здесь не как символы, а как ступени падения — и как ступени возвращения. Читатель вступает вслед за героями — и, закрыв последнюю страницу, обнаруживает, что держит в руках нечто большее, чем книгу.

© Денница А., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ПРОЛОГ. ДВЕРЬ                      | 5  |
| ГЛАВА 1. КИСЛОРОДНАЯ МАСКА         | 13 |
| ГЛАВА 2. ГОСТЬ ИЗ АРАМЕЙСКОГО ВЕКА | 22 |
| ГЛАВА 3. ДЕЛО 666                  | 31 |
| Конец ознакомительного фрагмента.  | 38 |

# Асмодей Денница

## Хроники последнего века.

### «Число Зверя»: пришествие

#### ПРОЛОГ. ДВЕРЬ

*«Не стучись в дверь, за которой темно: стучись в ту, за которой слишком тихо. Ибо тишина — это запертая боль.» \* \* — из «Книги Порогов», апокриф»*

Они говорили потом, что всё началось с генератора. И это была неправда — или почти неправда, потому что у всего, что случается по-настоящему, нет начала. Есть только миг, в который перестаёшь притворяться, что не замечаешь.

У Всеволода Игнатьевича Прозорова этот миг наступил в четверть второго ночи, в операционной номер три, когда сердце под его пальцами внезапно стало другим.

Он стоял за спинкой стола, сложив руки в перчатках над раскрытой грудной клеткой пациента, и смотрел на монитор. Операционная гудела ровно: сорок децибел воздуха, шепот наркозного аппарата, далёкая, как воспоминание, музыка — кто-то оставил радио в приёмной, и оно играло что-то очень старое и очень грустное. Снег за окном падал уже четвёртые сутки, и город стоял, придавленный, белый, неестественно тихий, как город под стеклянным колпаком. Москва, март, первая неделя, хоть по календарю и разгар вёсен — в окно было видно, как фонарь во дворе гнётся под мокрой тяжестью, и Прозоров в сотый раз за ночь поймал себя на том, что думает о фонаре, а не о деле.

Дело было пустяковое. Обходная аневризма, семьдесят один год, артериальное давление как у юного спринтера, врач — Ребров, Олег Маркович Ребров, лингвист, семитолог, известный тем, что *никогда никуда не торопился*. Прозоров знал его пятнадцать лет: Ребров жил через три подъезда от него в Сокольниках, и по субботам они сталкивались у молочного ларька — два старых человека, которые научились друг с другом разговаривать молчанием. Ребров был из тех, кто переводит с арамейского, сирийского и старозёфиопского, кто тридцать лет прожил с прозвищем «живой словарь», чьи статьи цитировали в Оксфорде и не читали в родном институте. Больной, хрупкий, в очках с треснувшей дужкой, перемотанной чёрной изолентой, — и вот он лежал на столе, бритоголовый, в синей простыне, а его грудная клетка была развёрнута ровной дугой, как страница.

— Зажим, — сказал Прозоров, не поднимая глаз.

Ассистент, молодой ординатор с лицом человека, который впервые в жизни не спит тридцать часов, подал инструмент. Зажим щёлкнул. Потом второй. И в этот момент монитор произнёс короткий, сухой звук, какой издаёт всё заканчивающееся.

Прозоров поднял голову.

На мониторе, где ещё секунду назад шла ровная, безжалостная, как метроном, кардиограмма, теперь стояла прямая линия. Ровная. Без единого артефакта. Без единой попытки эктопического водителя ритма — так не умирают. Так выключают свет.

— Асистолия, — сказал ассистент глупо, потому что обязан был сказать.

Прозоров посмотрел на Реброва. Лицо под маской было спокойное. Настолько спокойное, что врачу с тридцатидвухлетним стажем стало нехорошо: у людей, умирающих на операционном столе, лица не бывают спокойными. У них бывает гримаса, бывает удивление, бывает последняя судорога правоты — но не это.

Он запустил руку в полость. Грудная клетка была тёплой. Обычно у только что остановившихся пациентов она отдаёт пресным теплом, как у электрической грелки, которую только

что выключили. Здесь было тепло — иное. Тёплое, как натопленная комната. Как будто внутри человека, в этой раскрытой дуге рёбер, находилась не полость, заполненная кровью и лёгкими, а комната, в которой кто-то жил и только что вышел.

— Массаж, — сказал Прозоров. — Продолжаем.

Но он уже знал: продолжать бессмысленно. Сердце, лежащее под его ладонями, не было сердцем. Оно было тяжёлым, прохладным, чужим — Прозоров за тридцать два года тысячи раз держал в руках человеческие сердца, и никогда не чувствовал того, что чувствовал сейчас: отчётливое, безошибочное ощущение, что под его пальцами — \*\*чужой орган из чужого тела\*\*. Не пересаженное, не изменённое — просто другое. Как будто за пятнадцать минут между тем, как он зашил разрез первого слоя, и тем, как начал второй, — кто-то зашёл внутрь пациента и заменил одну маленькую деталь.

Он массировал. Пальцы продавливали миокард, послушный, плотный, живой — мышца отвечала, сокращалась, как хороший насос, но синусовый узел молчал. Не угнетён — молчал. Как будто радиостанция, вещавшая ритм, была выключена на передатчике.

— Адреналин, — сказал Прозоров. — Раз.

Ампула была сломана, шприц подан, толчок сделан. Кардиограмма дернулась раз, другой — и снова прямая линия, чистая, сияющая, почти торжественная.

И тогда Ребров открыл глаза.

Не то чтобы он был без сознания — он был под вводной анестезией, глубокой, как сон, с расслабленной мускулатурой, с нулевой электроэнцефалограммой. Ассистент, который держал зажим, сдавленно вскрикнул. Прозоров застыл.

Ребров смотрел на него. Глаза — серые, навывкате, тёплые, какие бывают у очень старых и очень добрых людей, — смотрели на хирурга тем особенным взглядом, каким один человек узнаёт другого через толщу лет. И губы под маской шевельнулись.

— Гаввах, — сказал Ребров отчётливо, на хорошем русском, но с непривычным, нездешним окружением гласных, как будто вспомнил слово из языка, на котором говорил во сне. — Гаввах... наконец-то.

Прозоров стоял, не дыша, глядя, как зрачки его друга расширяются с той особенной, полной, бархатной медленностью, с какой расширяются зрачки человека, входящего в тёмную комнату. Он вдруг отчётливо понял, что Ребров уходит — и уходит \*\*туда\*\*. Не в темноту — в темноту уходят быстро, рывком, как под воду. Ребров уходил медленно, как человек, спускающийся по лестнице, который ещё раз остановился и обернулся.

— Скажи им, — сказал Ребров, и губы его стали пепельными. — Скажи им, что у двери боль. Я знал. Я всегда знал. Просто думал, что у меня хватит времени перевести эту часть.

Он улыбнулся — совсем по-своему, чуть виновато, как улыбался, когда в институте его заставляли за чтением староефиопского вместо плана заседаний, — и монитор коротко пискнул. Прямая линия. Абсолютная. Конец.

Прозоров смотрел, как ординатор пятится от стола, как сестра накрывает простыню. Смотрел на монитор, где горела ровная, как горизонт, линия. И смотрел на свои руки — старые, спокойные, тридцатидвухлетней выдержки руки, которые за время операции ни разу не дрогнули. Они не дрожали и теперь. Но в груди у Прозорова, там, где у людей находятся лёгкие, а у него вот уже много лет — тишина, в этой тишине что-то очень ясно и очень тихо проговорило:

Ты не видел этого. Тебе это приснилось. Сейчас ты снимешь перчатки, вымоешь руки и пойдёшь домой, и это останется вчера, там, где ему и место.\*

Он так и сделал. Снял перчатки. Вымыл руки — долго, тщательно, до хруста. Сходил в ординаторскую, налил себе чаю из чайника, который стоял на подоконнике со времён Крыма, и выпил, глядя в окно на фонарь, который гнулся под мокрой тяжестью.

А потом он увидел сеть.

Это случилось, когда он повернулся от окна. Свет погас — нет, свет не погас, свет был на месте, но это не имело значения. Потому что сквозь свет, сквозь стены, сквозь заснеженный двор, сквозь ночной город Прозоров видел второе небо.

Оно было свинцовым, как верхняя сторона грозовой тучи, и низким — настолько низким, что, казалось, до него можно дотянуться с чердака. По нему, как трещины по старому льду, тянулись линии — багровые, пульсирующие, тёплые. Они сходились в узлы, и в узлах этих висели, как светящиеся орехи, маленькие тёплые шары, у каждого из которых был свой ритм. Прозоров постоял, глядя на это, и понял, что видит не галлюцинацию и не сон, а чертёж. Чертеж огромной, работающей, дышащей машины, спрятанной под городом, — машины, к которой каждый тёплый шар был подсоединён тонкой серебристой нитью.

У него хватило трезвости (он потом этим гордился, хотя и не знал зачем) на то, чтобы закрыть глаза. Он закрыл их, посчитал до семи — число, после которого моргание бессознательно — и открыл.

Город был на месте. Фонарь гнулся. Снег падал. Ордinatorская смердела чаем, йодом и усталостью. На столе лежала забытая кем-то газета со статьёй о человеке, которого звали Симон Ланге, и о чудесном «лекарстве против боли», которое этот человек обещал подарить всему миру.

Прозоров взял газету, посмотрел на портрет — молодое, гладкое, невыразимо приятное лицо, улыбка человека, который говорит правду и ждёт, что ему поверят, — и положил газету на место.

— Гаввах, — сказал он вслух, тихо, пробуя слово на языке, как пробуют монету на зуб. Слово было пустым. И оттого, что оно было пустым, у Прозорова впервые за тридцать два года задрожали руки.

Он вышел из больницы в два часа ночи, в расходящемся снегу, не взяв шапку, и шёл по Москве, и город вокруг него был — обычный город, привычный, фонарный, сугробный, — и всё же Прозоров шёл и думал, что где-то под ним, под асфальтом, под метро, под вечной мерзлотой его собственной уверенности, есть кто-то, кто только что проснулся.

*Всё началось с генератора, — говорили они потом.*

Это была неправда. Всё началось с того, что хирург, проработавший тридцать два года, впервые увидел, что боли в мире стало меньше. И вместо того, чтобы обрадоваться, испугался.

Во втором слое рассказа то же самое событие выглядело иначе. В читальном зале Российской государственной библиотеки, за треснувшим дубовым столом, под зелёной лампой, прижав телефон плечом к уху и не слушая, что ему говорят, сидел человек тридцати четырёх лет с лицом человека, который поссорился со своей жизнью из-за принципа и теперь делает вид, что не помнит, о чём был принцип.

Марка Северина уволили из «Правды-экспресс» за месяц до этого — за серию очерков, в которых он, по мнению редактора, «неправомерно объединил статистику смертности с мистикой». Очерки эти, собственно говоря, и были настоящей причиной, по которой он сидел в Ленинке в два часа ночи: он писал книгу. Книга называлась условно «Нулевой пациент», и касалась она одного наблюдения, которое Марк сделал ещё студентом и за которое его больше никогда не звали на студенческие научные конференции.

Наблюдение было простое, как всё, за что не дают премий: он выписал из статистических сборников и архивов даты смерти всех людей, чьи случаи впоследствии описывались как «необъяснимые», — и обнаружил интервал. Не было ни одного десятилетия, когда бы этот интервал нарушился. Каждые семь лет, с точностью до недели, на планете умирал человек, чья смерть сопровождалась одним и тем же неизменным признаком: перед смертью он называл число.

Число было всегда одно. Шестьсот шестьдесят шесть.

Марк не верил в дьявола — как всякий честный человек, он не верил ни во что, кроме документов, — но документы были его профессией, и документы лгали редко. Поэтому он сидел в архиве, и перед ним лежала папка с треугольным штампом «Архивное дело 0666/33», которую он вытащил из недр спецхрана при помощи своего единственного оставшегося в этом мире союзника — некой библиотекарши Светланы, питавшей к нему слабость, основанную на общем дедовском происхождении и общей неспособности прощать.

В папке — Марк открыл её уже в четвёртый раз за ночь — лежало двенадцать листов. Двенадцать смертей. Двенадцать дат, ровно в семь лет друг от друга: 1933, 1940, 1947, 1954, 1961, 1968, 1975, 1982, 1989, 1996, 2003, 2010. Двенадцать имён, из которых до наших дней не дожило ни одно, потому что за год до каждой даты человек получал какое-то посмертное признание — награду, публикацию, реабилитацию, монографию — и умирал ровно в назначенный день, успев сказать ровно одно неотчётное слово.

Последний лист был чист. Точнее — Марк перевернул его и посмотрел на свет — на нём были двенадцать строк, написанных от руки, химическим карандашом, всё тем же почерком, которым были исписаны все остальные. Тринадцатая строка гласила: «первая неделя марта 2033 года. Москва. Носитель — лингвист, семитолог, 71 год, держатель книги... »

Текст обрывался. Карандаш царапнул бумагу и остановился — как будто человек, писавший это, не успел закончить, потому что ему не дали. Или потому что он сам вдруг понял, что пишет не то.

Марк посмотрел на дату на газете, которая лежала под папкой. Первая неделя марта 2033 года.

Он медленно снял очки, посмотрел сквозь них на зелёную лампу — сквозь бифокальные линзы лампа расплывалась в тёплое море, — и надел их обратно. Затем он достал телефон. Набрал номер, глядя на тринадцатую строку, на слово «Москва», на слово «лингвист».

— Света, — сказал он, когда на том конце щёлкнуло. — Скажи мне, по-честному, ты веришь в совпадения?

Ответа не последовало. В трубке что-то тихо щёлкнуло, и пошёл ровный, механический, абсолютно неживой звук — короткие гудки. Потом зазвучала мелодия, которой Марк не слышал никогда в жизни, — и в ней, под ней, как обертон, как невидимая строчка под переводом, прозвучало одно слово, сказанное на том же нездешнем наречии, на котором его друг Прозоров в эту самую минуту пробовал на язык слово «*гаввах*».

Слово было: *гаввах*.

Марк опустил телефон. Посмотрел на него. Экран был тёмный — телефон был выключен. Он сам выключил его два часа назад, когда библиотекарша Светлана ушла домой, а он остался, потому что любил работать в тишине.

Марк положил телефон на стол экраном вниз, поднялся, одёрнул свитер и вышел из-за стола. В дверях он остановился и оглянулся на папку — на тринадцать строк от руки, на дату «первая неделя марта 2033 года». Ему очень хотелось оставить папку на столе и уйти, и он почти оставил. Но в этот момент под потолком читального зала, в тишине, в которую никогда не проникал никто, кроме шелеста бумаги, — раздался звук.

Это был скрип. Один-единственный, короткий, сухой скрип, как будто кто-то приоткрыл тяжёлую дверь в конце длинного коридора и затворил её обратно.

Марк взял папку. И пошёл к выходу, не включая света, потому что тьма в этом зале была ему знакома, а свет — нет.

Третье место, где в эту ночь случилось событие, находилось за тысячу вёрст от Москвы, в комнате на четвёртом этаже хрущёвки на окраине Ростова-на-Дону. Там, на полу, разложив вокруг себя цветные карандаши веером, как разложила бы навигационные карты, сидела девочка девяти лет по имени Анна Круглова, и рисовала.

Аня была — по выражению школьного психолога, который втайне её боялся, — «девочкой с избыточной визуальной активностью». На родительских собраниях это значило: рисует слишком много, слишком темно и слишком точно. Учительница рисования, женщина добрая, любила Аню и ставила ей пятёрки за «богатое воображение», но была одна вещь, которую Аня рисовала всегда, на каждом листе, в углу, неосознанно, как подпись: маленькую дверь. Иногда дверь была встроена в стену, иногда стояла одна посреди поля, иногда была прорезана в небе. Но она была всегда, и Аня никогда не могла объяснить, почему рисует её.

В эту ночь Аня рисовала город.

Он был красив — страшной, нечеловеческой красотой, какой не бывает у городов, построенных людьми. Башня, тонкая, как игла, взметнувшаяся выше облаков, — вокруг неё, как планеты вокруг солнца, висели другие башни, соединённые прозрачными мостами. Внизу, в основании, город опирался на кольцо стен, в которых прорезаны были ворота — двенадцать ворот, по три с каждой стороны света, и у каждого ворот стоял страж, и у каждого стража было лицо человека, ещё не родившегося. Над городом не было неба — вместо него шла ровная, гладкая, тёмная поверхность, как потолок. Аня рисовала, не отрывая карандаша, тем графитовым движением, каким рисуют не из головы, а из памяти, и когда она кончила, на полу лежал аккуратный, страшный чертёж.

В углу листа, как всегда, была дверь. И в этот раз Аня впервые дорисовала её до конца — она всегда оставляла её незакрытой. Теперь дверь была нарисована настежь, и за ней, в глубине, не было ничего, кроме тьмы, в которой стоял, сложив руки перед собой, как санитар в приёмном покое, человек в белом халате.

За спиной Ани щёлкнул выключатель. Вспыхнула люстра.

— Аня, — сказала мать, стоя в дверях, с ремнём халата в руках. — Ты почему не спишь?

Аня не обернулась. Она смотрела на свой рисунок, держа в руке чёрный карандаш, который был стёрт до дерева. Мелочь, которую она делала каждую ночь, — рисовала, пока не сотрётся карандаш, пока не кончится бумага, пока на городских часах не пробьют два. Только в этот раз она поняла, что нарисовала город, в котором никогда не была ни разу в жизни, — но узнала его так, как узнают дом, в котором выросли.

— Мама, — сказала Аня, не поворачиваясь, очень спокойно, — он придёт не через дверь. Он уже зашёл, пока мы спали. Он стоит в прихожей и учит свои новости.

Мать быстро, сухо улыбнулась — улыбкой, которой улыбаются взрослые, когда хотят, чтобы ребёнок замолчал. Подошла, взяла Аню за руку, — девочка была холодная, совсем холодная, ночи стояли тёплые для марта, а девочка была ледяная, как будто она всё это время сидела на сквозняке из открытой двери. Мать посмотрела на рисунок. И, сама не зная зачем, перевернула лист лицом вниз.

— Спать, — сказала она. — Завтра... завтра суббота, мы поедем к бабушке.

— Мы не поедем к бабушке, — сказала Аня, поднимаясь с колен, как поднимаются со дна, тяжело и послушно. — Завтра в городе будет дождь. И ещё кое-что. Он включит свет, мама. Он включит свет во всех домах сразу, и все будут радоваться, а мы нет.

— Аня.

— Я не хочу плакать, мама. — Девочка выдернула руку, и в этом движении было что-то такое взрослое, такое отдельное, что мать на секунду перестала дышать. — Я просто хочу, чтобы ты знала. Когда он включит свет — это и будет дверью.

Она ушла в свою комнату и закрыла дверь — тихо, без щелчка, как закрывают двери люди, у которых за этой дверью нет ничего, чего бы они не знали.

Мать постояла в коридоре. Потом подошла к столу Ани, взяла рисунок и — она не знала зачем, ей было стыдно, но она это сделала — разгладила его и посмотрела на человека в белом халате, стоящего за открытой дверью.

Лицо у человека было стёрто. Аня всегда рисовала людей без лиц — «потому что они ещё не решили», — но здесь лицо было не стёрто. Оно было нарисовано, а потом закрашено чёрным — тем же чёрным карандашом, стёртым до дерева, которым она рисовала до трёх часов ночи. Закрашено тщательно, без единого просвета, так, как закрашивают то, что видят слишком хорошо.

Мать положила рисунок обратно на стол, лицом вверх. И, не включая света в комнате, подошла к окну и посмотрела на спящий город.

Город спал. Ничего не происходило. Это было единственное, что её испугало по-настоящему: она знала, что в такие ночи всегда что-то происходит, и всегда тихо.

В четвёртом слое той же ночи, в деревне Степаново Тверской области, в доме с печью и покосившимся крыльцом, четыре часа утра было временем, когда Ирина Всеволодовна Дежнёва просыпалась сама, за десять минут до будильника, — привычка, выработанная тридцатью годами военной службы и не поддающаяся лечению.

Ей было пятьдесят два. Двадцать два из них — полковник медицинской службы, главный врач гарнизонного госпиталя, женщина, которой доверяли резать спины лётчиков и не доверяли слова «я устала». Потом был 2014 год, командировка, о которой не говорят вслух и о которой написаны три засекреченных тома, потом — демобилизация, полугодовая депрессия, переезд в деревню, в дом, доставшийся от тётки, — и вот уже девять лет Ирина живёт одна, топит печь, держит козу, читает на ночь старые военные мемуары, пишет аккуратные письма сыну, который живёт в Москве и радуется, что мать наконец перестала «воевать».

В четыре утра она встала, как всегда, налила воды в чайник, разожгла печь, села на табурет и посмотрела на телевизор. Чёрный ящик с усом антенны простоял молча два месяца — в деревне уже год как не ловило, и Ирина не чинила: ей и в голову не приходило его чинить. Но в эту ночь она включила его, сама не зная зачем, и он — впервые за год — заговорил.

На экране, в синеватом дрожащем свете, стоял человек. Молодой, лет тридцати пяти, с лицом, которое невозможно было запомнить, и которое забыть было невозможно. Обычная одежда, обычная студия, обычная постановка рук — но за ним, сзади, на растяжке, как знамя, стояла надпись: «Клеймо. Мир без боли».

— ...мы прожили достаточно долго в мире, где боль управляет человеком, — говорил человек, и голос у него был ровный, мягкий, с интонацией человека, которому не нужно никого убеждать, потому что он говорит правду. — Боль — это не проклятие и не наказание. Это ошибка эволюции. Ошибка, которую мы наконец можем исправить. Представьте: ребёнок, который никогда не узнает, что такое зубная боль. Старик, который умирает без страданий. Мир, в котором некому и незачем причинять боль, потому что боль перестаёт быть инструментом.

Ирина сидела, глядя на экран, и в груди у неё — там, где у других людей находится сердце, а у неё уже девять лет стылая, ровная, как река подо льдом, тишина — в этой тишине что-то очень медленно, очень осторожно провернулось, как провертывается тяжёлый ключ в проржавевшем замке.

— Меня зовут Симон Ланге, — продолжал человек, поворачиваясь к камере лицом, и тут Ирина перестала дышать, потому что увидела.

Профиль. Левый профиль, подавшийся в три четверти, так, как поворачиваются к камере актёры, знающие свой лучший ракурс, — и линия скулы, и маленький шрам над бровью, и складка у рта, которая делала его лицо старше и скупее, — всё это Ирина видела прежде. Видела на фотографии, которая висела в её комнате в деревне, над кроватью, в чёрной рамке, под которую она клала сухие цветы.

Это был профиль её отца.

— ...чтобы принять Клеймо, ничего не нужно, — говорил Ланге, а Ирина смотрела и не могла насмотреться, потому что лицо на экране было молодым, а лицо, которое она помнила,

было старым — сорок лет назад ей было двенадцать, и её отец, геофизик Юрий Всеволодович Дежнёв, обнимал её на перроне и обещал вернуться к весне. Он не вернулся. Он исчез в 1996 году, в экспедиции под Кунгуром, вместе с тремя коллегами, — и поисковая партия не нашла ничего, кроме пустых палаток, замерзшего костра и блокнота, в котором на последней странице стояло крупно, карандашом, одна строка: «У боли нет числа. У двери — есть».

Ирина тогда перечитала эту строку сто раз. Запомнила наизусть, как молитву. Выросла, стала врачом, много лет лечила боль — и всегда, когда сталкивалась с чем-то, чего не могла объяснить, слышала в голове отцовскую строку: «У боли нет числа». Она понимала её так: боль бесконечна, и человек бессилен. Теперь, глядя на молодое лицо на экране, на эту точную, родную, невозможную копию отцовского профиля, она впервые усомнилась в собственном понимании.

— У боли нет числа, — сказала она вслух, в пустоту, в синий свет. — У двери — есть.

Телевизор мигнул, зашипел и погас. На экране осталась только ровная, серая, как пред-  
рассветное небо, поверхность — и на ней, ещё мгновение, стояло лицо Симона Ланге, глядя-  
щее в камеру с той особенной, испытующей нежностью, с какой отец смотрел на дочь, когда  
она боялась темноты.

Потом лицо исчезло. Ирина долго сидела не двигаясь. Потом встала, подошла к столу, открыла ящик, достала отцовский блокнот — единственное, что осталось от него, потрёпан-  
ный, в бурых пятнах, — раскрыла на последней странице и долго смотрела на строку, выве-  
денную карандашом под диктовку кого-то, кто знал, что его уже не успеют прочитать.

«У боли нет числа. У двери — есть».

Она закрыла блокнот. Завернула его в чистую тряпицу, положила в рюкзак, сложила туда же смену белья, нож, фонарь, аптечку — тридцатилетняя привычка собираться за пять минут, — и в полшестого утра вышла из дома, не закрыв дверь на замок, и пошла по просёлочной дороге к станции, за которой была Москва, за которой был телевизор, за которым было лицо её отца на телеэкране и слово, которое она ещё не знала, но уже носила в себе, как носят под сердцем сразу две жизни.

В шесть утра, когда она садилась в электричку, по всем телефонам мира, по всем экранам, по всем радиоволнам — ровно в ту минуту, когда девятилетняя девочка в Ростове открыла глаза и сказала «он включил свет», а хирург в Москве допивал остывший чай в пустой ординаторской, а журналист в библиотеке спускался по лестнице с папкой «0666/33» под мышкой, — в эту минуту мир услышал.

Это был не сигнал и не ролик. Это был голос — ровный, мягкий, с интонацией человека, который говорит правду, — и голос этот был обращён, казалось, лично к каждому живущему.

— Доброе утро, — сказал голос. — Меня зовут Симон Ланге. Я хочу подарить вам то, что вы заслужили. Я хочу выключить боль. Всего один раз. Навсегда.

И мир, ещё не проснувшись, улыбнулся ему в ответ.

Они говорили потом, что всё началось с генератора. Это неправда. Всё началось с этого утра — с утра, когда в мире стало чуть-чуть тише, потому что из него, по капле, незаметно, как вытекает вода из треснувшего графина, начала уходить боль.

И никто — ни один человек на Земле — не спросил, куда она уходит.

Никто, кроме троих: хирурга, который видел чертёж; журналиста, который нёс тринадцатую страницу; и девочки, которая закрашивала лица.

Им троим это утро запомнилось навсегда — по-разному, как запоминаются разные стороны одной и той же гибели.

Прозоров запомнил его по запаху. Пахло снегом, горелым чаем и — совершенно новым, незнакомым, решительным — железом: как будто над Москвой в эту ночь кто-то очень аккуратно, очень терпеливо подтачивал огромный металлический лист, готовя в нём проём.

Марк запомнил его по тишине в библиотеке: он выходил из здания, когда над городом занималось серое, бессолнечное утро, и ему показалось, что утро это слишком уж рассчитано. Слишком ровно расставлены облака. Слишком точно наклонён свет. Как будто кто-то построил это утро заранее, по чертежу, и пустил по нему время, как пускают поезд по готовым рельсам.

Аня запомнила его по свету. Она стояла у окна своей комнаты, глядя, как над Ростовом встаёт большое, тёплое, совершенно обычное солнце, — и знала, что оно не имеет к происходящему никакого отношения, потому что свет, который она искала, был не снаружи. Он был внутри неё, в месте, которое она привыкла считать дном своего тихого аквариума, — и там, на дне, в это самое утро, впервые за девять лет её жизни треснула стена, за которой слышалось биение.

Не сердца. Не механизма. Чего-то, что билось слишком ровно для того и слишком живо для другого — и просилось наружу.

Аня закрыла глаза и попыталась сосчитать удары. Удары не считались. Они совпадали с её дыханием, с её пульсом, с тиканьем часов на комод — и все вместе они складывались в одно: не спеши. Мы идём. Мы уже идём. Дверь открывается медленно.

В это утро мир не изменился. В это утро мир просто задрожал — едва заметно, как дрожит подготовленная к стрельбе струна, — и натяжение это, невидимо для всех, кроме четверых, оказалось новым законом, по которому предстояло жить всем.

Они говорили потом, что всё началось с генератора.

Никогда — это началось с двери. С той единственной двери, которую все держали открытой по своей воле — и сквозь которую, поскрипывая, не торопясь, зашло то, чему следовало бы стоять в прихожей вечность.

А за дверью, в тёплой, освещённой глубине, уже стоял человек в белом халате, сложив руки перед собой, как санитар в приёмном покое, — и улыбался.

У него было лицо, которое невозможно запомнить, и которое забыть невозможно.

У него было имя, которое ещё не произнесли вслух ни разу.

И у него было число.

Оно было уже начертано — не на челе, не на руке, но в самом способе, каким утро этого длинного года ложилось на город; оно было начертано в коде каждой машины, в каждом расписании, в каждом договоре; оно было начертано в тишине, из которой ушла боль, и в пустоте, которую оставила она.

Число было простое. Человеческое. Так сказал однажды тот, кто ещё не пришёл.

Шестьсот шестьдесят шесть.

— Доброе утро, — сказал голос из всех динамиков мира, и это было последнее утро, которое мир прожил, не зная, что утро может быть последним.

За окном ординаторской, на фонарном столбе, на котором Прозоров перестал замечать трещину, — что-то коротко, сухо, как вздох, щёлкнуло. Дверь приоткрылась. И тишина в мире стала на полсантиметра глубже.

## ГЛАВА 1. КИСЛОРОДНАЯ МАСКА

*«Человек не умирает, когда останавливается его сердце. Он умирает, когда перестанет замечать, что дышит чужим воздухом.» — из «Толкований на Порог», манускрипт XV века»*

Три дня спустя после смерти Реброва, в одиннадцать утра, Прозоров сидел в кабинете заведующего отделением и смотрел на бумагу, которую ему подсунули под нос вместе с чашкой чая.

Бумага была официальная: на гербовой марке — ведомственная символика нового Департамента гуманитарной биологии, сухая фраза «в связи с реорганизацией структуры медицинской помощи города Москвы», и ниже — подпись, ровная, широкая, красивая, такая, какими расписываются люди, уверенные, что их подпись будут помнить. Прозоров прочитал её дважды, поставил чашку на стол, взял бумагу в руки и прочитал в третий раз.

— Это ошибка, — сказал он наконец. — Я не подавал заявления.

— Никто и не говорит, что вы подавали, — ответил заведующий, человек с лицом мученика и голосом, в котором уже год жило утомление от необходимости объяснять людям вещи, которые они и так знают. — Это не увольнение, Всеволод Игнатьевич. Это назначение.

— Назначение, — повторил Прозоров, перечитывая строку, которая стояла выше подписи: «...в связи с высокой квалификацией и опытом назначается на должность главного специалиста Координационного центра Ковчег, г. Москва, с сохранением...» Дальше шли цифры и гарантии, от которых у любого врача его возраста на секунду пересохло бы во рту: оклад, жильё, статус, «доступ к закрытым базам данных».

— Я не подавал заявления, — повторил Прозоров.

— Это не имеет значения, — сказал заведующий и впервые за долгую беседу посмотрел ему прямо в глаза. Было в этом взгляде что-то, от чего Прозорову стало нехорошо: не утомление, не сожаление — а осторожность. Человек, который смотрит на часы, но боится, что его заметят. — Это даже почётно, Всеволод Игнатьевич. Таких людей, как вы, единицы. Вы тридцать два года резали, вы видели больше боли, чем любой... — он запнулся, подбирая слово, — чем кто-либо. Вы именно тот, кто им нужен.

— Кому — им?

Заведующий не ответил. Он поднялся, одёрнул халат, подошёл к окну и долго смотрел на улицу, где в это утро Москва выглядела непривычно — нарядно, чисто, умыто, как город, который прихорашивается перед чьим-то приездом. По Тверской, убирая снег, — а снега не было уже четвёртый день, и дворники скребли асфальт с тем старательным усердием, с каким скребут палубу перед смотром, — шли студенты в белых куртках, и на груди у каждого, у всех, у каждого до единого, поблёскивала маленькая серебристая брошь.

— Когда я был молодым хирургом, — сказал заведующий, не оборачиваясь, — я думал, что боль — это враг. Потом я понял, что боль — это вестник. Теперь я уже не уверен, что у боли есть хоть какое-то право оставаться в этом мире. И если есть на земле человек, который может выключить её — я скажу ему спасибо. Даже не зная, как его зовут.

— Его зовут Симон Ланге, — сказал Прозоров, и при этих трёх слогах — Си-мон-Лан-ге — в кабинете что-то изменилось. Не воздух, не свет, не звук. Изменился заведующий: он стоял спиной к нему, у окна, и по тому, как дёрнулось его плечо, как он внезапно перестал дышать и очень медленно, очень осторожно выдохнул, Прозоров понял, что попал в цель. — Из-за него вся эта бумага. Из-за него вы мне её подсунули. Вы боитесь его, Олег Антонович. Вернее, вы боитесь не его, а того, что он может сделать с вами, если вы не выполните то, что он велел.

Заведующий молчал долго. Потом сказал, всё так же не оборачиваясь:

— У меня внучка. Ей четыре года. У неё врождённая патология: она не чувствует боль. Не чувствует совсем. Мы обошли всех специалистов... — он сглотнул. — Врачи говорят: это

редкость, почти чудо. Она не понимает, почему плачут другие дети, когда падают. Она улыбается, когда режет палец. Она счастливая. Ей никогда не бывает больно.

— Это не чудо, — сказал Прозоров. — Это синдром врождённой нечувствительности к боли. Таких детей по миру — несколько сотен. Они умирают молодыми, потому что не могут вовремя почувствовать, что у них что-то ломается внутри. Аппендицит, перитонит, заворот кишок — они улыбаются до самой смерти.

— Я знаю, — сказал заведующий. — Я это знаю лучше, чем вы. И поэтому я хочу, чтобы её было... — он наконец повернулся, и Прозоров увидел его лицо: старое, серое, с глазами человека, который сделал выбор и теперь боится его последствий. — Чтобы ей было не холодно. Чтобы ей никогда не было холодно и больно. Вы понимаете меня, Всеволод Игнатьевич? Я хочу, чтобы она жила.

Прозоров смотрел на него. Внутри у него, там, где три дня назад впервые за тридцать два года задрожали руки, было пусто и тихо — той самой тишиной, которую он научился узнавать, как узнают запах дождя. Он подумал о Реброве, о его последнем слове, о тринадцатой строке в архиве, о чертеже под городом. Он подумал о том, что сказать. И вместо того, чтобы сказать, он взял бумагу, сложил её вдвое, потом вчетверо, положил во внутренний карман пальто рядом с паспортом и поднялся.

— Я подумаю, — сказал он.

— Времени нет, — сказал заведующий, и в голосе его прозвучало что-то новое — то ли отчаяние, то ли надежда. — Вы не понимаете, Всеволод Игнатьевич. Вы ещё не поняли, что произошло за эти три дня. Вы не видели улиц. Вы не видели, что делается с людьми. Выходите и посмотрите. Выходите и посмотрите, какой стала Москва после того, как он включил свет.

Прозоров вышел. И увидел.

Москва была — нарядная. По-настоящему нарядная, как в тот единственный день в году, когда город причёсывается для парада: асфальт вымыт, витрины отполированы, на деревьях — ещё не распустившихся, голых, мокрых — висели бумажные ленты, и ветер гнал по бульварам белую порошу от устроенных у метро аппаратов, из которых лилась, клубясь, искусственная снежная струя. Везде — на остановках, на столбах, на бортах автобусов, на транспарантах, перекинутых через улицы, — висело одно и то же лицо. Молодое, гладкое, невыразимо приятное. Улыбка человека, который говорит правду и ждёт, что ему поверят. Внизу, под каждым портретом, — одна и та же строка, короткая, как команда:

**КЛЕЙМО. МИР БЕЗ БОЛИ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗАВТРА.**

Аппараты с искусственным снегом стояли у каждого входа в метро, у каждого универсама, у каждой школы. Они сыпали белую крупу равномерно, без остановок, и очереди людей стояли перед ними, и люди подставляли ладони, и смеялись, и — это было самое страшное, что Прозоров видел в своей жизни, — не толкались. В очереди перед аппаратом у метро «Сокольники» стояло, быть может, полсотни человек, и все они стояли спокойно, ровно, терпеливо, и никто не отпихивал соседа, и никто не торопился, и все смотрели вниз, на белую крупу, на собственные ладони, и у всех — у всех до единого — на груди поблёскивала серебристая брошь.

Прозоров постоял, глядя на это, и почувствовал, как в груди у него садится, опускается, как вода в колоде, что-то очень важное — то, что он носил в себе все эти годы и называл, сам не зная почему, тревогой. Он перешёл улицу. Он подошёл к очереди. Он остановился за спиной молодой женщины с коляской, стоявшей ближе всех к аппарату, и вежливо, как научил его заведующий говорить с людьми, спросил:

— Простите. А что это такое?

Женщина не обернулась. Она смотрела, как снег падает ей на ладони, и улыбалась той самой улыбкой, какой улыбаются счастливые люди, когда на них смотрят со стороны: ничего не объясняя и ничего не требуя.

— Это Клеймо, — сказала она. — Ему не нужны ни руки, ни чело. Оно само приходит. Ты просто должен захотеть.

— Чего захотеть?

— Завтра, — сказала женщина, и Прозоров заметил, что она не дышит. Не то чтобы не дышит в принципе — дышит, конечно, — но в промежутках между словами, в паузах, в тишине, которая повисала между её фразами, дыхание у неё останавливалось на секунду-другую дольше, чем положено. Как будто она прислушивалась к чему-то, что звучало не снаружи, а внутри. — Завтра — это когда никто не плачет. Когда никто не боится. Когда детская кроватка утром не мокрая от слёз, когда врач на приёме не говорит «крепитесь», когда на работе не спрашивают «почему ты такой бледный». Завтра — это очень просто, — она повернулась к нему, и Прозоров увидел её лицо: молодое, тёплое, счастливое, с глазами человека, который наконец нашёл то, что искал. — Вы придёте к нам, доктор? Нам нужны такие, как вы.

Прозорову стало холодно. Не от снега — снег был сухой и тёплый, искусственный, — а от того, как она назвала его. «Доктор». Она назвала его доктором, хотя он не представился, хотя на нём не было халата, хотя он стоял в пальто, в шапке, в шарфе — как любой прохожий, как любой из сотен людей, идущих мимо. Она назвала его доктором, как называют по имени того, кого знают давно.

— Откуда вы знаете, что я врач? — спросил он, и голос его прозвучал глухо, как из бочки.

Женщина улыбнулась. И в улыбке этой, впервые за всё время их короткого разговора, Прозоров увидел не счастье и не блаженство, а что-то иное — то, от чего у него, тридцатидвухлетнего ветерана операционных, коротко и тоскливо сжалось сердце: безусловную, белую, как лист бумаги, веру. Веру без вопроса. Веру без сомнения. Веру, которая не проверяет и не уточняет, потому что ей ничего не нужно, кроме того, во что она верит.

— Мне сказали, — ответила она. — Он всем сказал. Он сказал: смотрите, какой хороший доктор стоит сзади вас. Он всегда стоит сзади и не подходит. Подойдите к нему и скажите, что нам нужны такие, как он.

— Кто сказал? — спросил Прозоров, и голос его сорвался. — Симон Ланге сказал?

Женщина покачала головой. Она поднесла ладонь к уху, туда, где за мочкой, за маленькой серебристой точкой, которую Прозоров раньше не замечал, — кожа была чуть-чуть темнее, плотнее, как шрам. Она держала ладонь так, как держат ладонь у рта, когда шепчут, — и ответила:

— Он не говорит. Он всегда молчит. Он просто показывает. Сейчас он показывает мне вас, доктор. Он показывает мне вашу руку, и вашу бумагу во внутреннем кармане, и ваш паспорт, и фотографию в паспорте, и мальчика на фотографии — у него ваши глаза, да? — и он показывает мне, что вы уже почти согласились. Правда же, вы почти согласились?

Прозоров сделал шаг назад. Потом ещё один. Потом, не прощаясь, повернулся и пошёл прочь — быстро, не разбирая дороги, огибая очереди, аппараты, портреты, броши, лица, улыбки, улыбки, улыбки, — и сзади, негромко, совсем тихо, как говорит человек, который знает, что его услышат, женщина сказала ему в спину:

— У вас нет выбора, доктор. Устал никто из нас не выбирает. Мы все уже выбрали. Ещё до того, как услышали его голос. Ещё до того, как родились.

Прозоров шёл, не оборачиваясь. Он шёл через город, в котором три дня назад, в пустой операционной, впервые увидел сеть, — и теперь город был весь прошит этой сетью: нарядный, вымытый, улыбающийся, причёсанный перед чьим-то приездом, — и под ним, под асфальтом, под метро, под этой новой, звонкой тишиной, кто-то очень большой, только что проснувшийся, дышал ровно, спокойно, терпеливо, как дышит человек, которому больше некуда спешить, потому что он уже всё выиграл.

В шесть часов вечера того же дня Прозоров стоял перед подъездом дома Реброва в Сокольниках и держал в руке ключи, которые ему отдала вдова — сухая, прямая старушка в

чёрном, отдавшая их без единого слова, как отдают почтальону, — не потому, что доверяла, а потому, что так было заведено: «Вы его друг. Заберите бумаги. Остальное — пусть будет как будет».

Квартира пахла Ребровым. Может быть, воском, может быть, старыми книгами, может быть, тем особенным запахом, какой оставляют после себя люди, которые всю жизнь переводили чужие слова, — запахом чужого языка, осевшего на стенах. Прозоров прошёл по коридору, мимо вешалки с одиноким пальто, мимо кухни, где на столе стояла недопитая чашка чаю — Ребров всегда оставлял её на ночь, «чтобы было к чему вернуться», — и вошёл в кабинет. Маленькая комната, заваленная книгами от пола до потолка, письменный стол, зелёная лампа, печатная машинка, и на ней, в каретке, — незаконченная страница.

Прозоров подошёл к столу. Прочитал. Страница была исписана мелким, убористым, драгоценным почерком Реброва — тем самым, каким он писал только самое важное, то, что не решался диктовать:

«...итак, я дошёл до места, где должен сказать главное, и теперь, когда время подошло, я понимаю, что всю жизнь готовился к другому разговору. Я думал, что буду объяснять это людям из будущего, сидя в тёплой комнате, с чашкой чая, с возможностью повторить и уточнить. Вместо этого я объясняю это тебе, Всеволод, посмертно, по-скорости, и если ты читаешь это — значит, не успел. Значит, время пришло быстрее, чем я думал. А я думал, что у меня есть ещё лет пять. Мне семьдесят один. Стариковская самонадеянность: я считал, что дверь откроется не при мне.

Ты знаешь слово, которое я сказал тебе на столе. Ты его слышал. Я не знаю, понял ли ты, что оно значит, — я и сам не до конца понимал, а теперь уж поздно. Но я успел перевести главное. Оно о том, что эта боль — не наша. Да, мы её чувствуем: каждый из нас чувствует чужую боль, как свою, потому что мы всё время соединены — я всегда это подозревал, а потом нашёл место, где это написано прямо, — соединены невидимой тканью, общим телом, и всякая боль, всякая злоба, всякий страх — это не просто чувство: это пища. Кто-то кормится нашей болью. Кто-то очень большой, очень старый и очень терпеливый. Он ждёт не конца света — он ждёт, когда мы сами отдадим ему боль. А мы отдаём, Всеволод. Каждый раз, когда плачем, злимся, боимся, ненавидим — мы кормим его.

И вот теперь этот человек, Ланге. Ты ещё не понял, кто это. А я понял ещё три года назад, когда впервые увидел его лицо на фотографии в институтском архиве — вместе с документами экспедиции, из которой не вернулся твой тесть... — нет, ты не женат, ты всегда был один, прости меня, я плохо помню твою биографию, я всегда плохо помнил чужие биографии, — но я помню главное: ты должен знать, что Ланге — не то, чем кажется. Он не человек. Вернее — он не столько человек, сколько...»

Страница обрывалась. Конец фразы — «...сколько...» — царапнул по бумаге и оборвался, и за ней, ниже, чуть вкось, стояли три буквы, выведенные уже не почерком Реброва — почерком другого, более молодого, более уверенного в себе человека: «НЕ». Больше ничего. Ни точки, ни подписи, ни даты. Только «НЕ».

Прозоров смотрел на эти три буквы долго, так долго, что зелёная лампа начала мерцать, как будто кто-то мигнул ей из-за стены. Потом он перевернул страницу. На обороте, карандашом, бледно, было написано посередине, в кружке, как писали когда-то адреса на конвертах:

«У боли нет числа. У двери — есть. Я не успел перевести Книгу Порогов. Прости. Она — в Кунгуре. Там, где под землёй не спят. Возьми её, если сможешь. Только не бери её один: она забирает у каждого, кто читает. Лучше возьми ту, что видит нас...»

Дальше шло неразборчиво, зачёркнуто, перечёркнуто, как будто Ребров боролся с собой, решая, дописать или нет, — и наконец вывел ровно, с нажимом:

«— девочку, которая рисует двери».

Прозоров стоял со страницей в руке. За окном, в сгустившихся сумерках, город шумел по-новому — не так, как шумел раньше: ровно, однотонно, как шумит лес, когда в нём нет ветра. Где-то далеко, у аппаратов с искусственным снегом, всё ещё стояли очереди, и люди всё ещё подставляли ладони, и смеялись, и никто не толкался.

Прозоров аккуратно сложил письмо, спрятал во внутренний карман, рядом с паспортом и с бумагой о назначении, и подошёл к книжной полке. Он никогда не был в этом кабинете, но знал, где искать: Ребров устроил библиотеку так, как устроены библиотеки у людей, которые всю жизнь переводили, — по языкам. Русский, греческий, латынь, сирийский, арамейский, староефиопский... Прозоров прошёл вдоль полок, читая корешки, и остановился перед полкой, где стояли книги, которых он никогда не видел в каталогах, — книги без названий на корешках, в одинаковых чёрных переплётах, по тридцать-сорок томов в ряд. Он вынул один. Том был тяжёлый, пахнувший пылью и чем-то ещё — чем-то сладковатым, отчего у него на секунду закружилась голова, — и на первой странице, от руки, тем же почерком Реброва, стояло:

«Эту книгу я перевёл в 1996 году, в Кунгуре, за шесть месяцев до того, как всё кончилось. Я читал её по ночам, когда остальные спали. Если вы читаете это — значит, я не успел её уничтожить. Не дочитывайте до конца. Особенно — не читайте вслух. Особенно — не читайте при свете. И пожалуйста, если вы умеете плакать, — поплачьте за меня, потому что я разучился».\*

Прозоров закрыл книгу. Стоял, держа её в руках, и слышал, как за стеной, в квартире, где пол часа назад хлопнула дверь, — тишина входит в каждый угол, оседает на вещах, на мебели, на незаконченной странице, на трёх буквах «НЕ», — и вместе с тишиной, из-под пола, из-под стен, из-под этого целого города, умытого и причёсанного перед чьим-то приездом, поднимался ровный, терпеливый, бесконечный звук — не гул, не гудение, а дыхание.

Очень большое. Очень старое. Очень довольное.

Прозоров спрятал книгу в портфель, потушил лампу и вышел из квартиры, закрыв за собой дверь на все замки, какие были. Ему показалось, что изнутри, из-за двери, ему ответили — тем же коротким, сухим, как вздох, щелчком, каким три дня назад щёлкнул монитор над столом, где умирал Ребров.

В ту же ночь, в одиннадцать часов вечера, Марк Северин сидел в своей однокомнатной квартире на Яузе, на полу, среди рассыпанных по линолеуму бумаг, и в третий раз раскладывал «Дело 666».

Он делал это уже три дня подряд, по одному и тому же ритуалу, который успел стать для него необходимостью, почти физической: раскладывал двенадцать листов в ряд, от 1933-го к 2010-му, клал указательный палец на дату, называл имя, называл год, называл то, что человек успел сказать перед смертью, — и запинаясь. В тринадцатый раз он замирал перед тринадцатой строкой, выведенной химическим карандашом: «первая неделя марта 2033 года. Москва. Носитель — лингвист, семитолог, 71 год, держатель книги...»

Он уже знал, что носитель — Олег Маркович Ребров. Марк вычислил это в первый же день: старые институтские справочники, адресные книги, база данных Российской государственной библиотеки, где Ребров сдавал в читальный зал переведённые им рукописи. «Держатель книги» — это было единственное место в деле, где фигурировала не дата и не имя, а вещь. Книга. Книга, которую держал при себе человек, умиравший с чужим словом на губах.

И в этой книге, если верить той версии, которая у Марка уже начала складываться, — складываться против его воли, против его журналистской выучки, против всего, во что он верил, — было написано что-то, чего не должно было существовать.

Он поднялся, подошёл к столу, включил ноутбук. Экран вспыхнул, и Марк, набирая в поисковой строке «Симон Ланге биография», вдруг понял, что уже час держит в руке мобильный телефон, выключенный, остывший, — и что ему очень страшно включать его. Потому что три дня назад, в библиотеке, из выключенного телефона прозвучало слово «гаввах». Потому

что сегодня днём, выходя из метро, он видел, как люди стоят у аппаратов с искусственным снегом и улыбаются — и никто не толкается. Потому что на каждом втором портрете в городе — лицо человека, которого Марк впервые увидел, кажется, вчера, но впервые услышал, кажется, ещё в детстве, в обрывке какой-то радиопередачи, которую он потом нигде не мог найти.

Он нажал кнопку. Телефон ожил, и в ту же секунду, прежде чем на экране проявилась заставка, из динамика донеслось — коротко, отчётливо, как удар по стеклу:

— ...симон...ланге...

Марк уронил телефон на пол, как уронил бы гадюку. Телефон стукнулся, разлетелся на батарею и крышку, и на полу, среди осколков пластика, всё ещё светился экран, и по нему, по царапинам, бежали строки, которые Марк успел прочитать, прежде чем телефон захлебнулся и погас:

«...исполнитель... срок... новая инициация... седьмой... носитель не передан... конец линии... начинается линия...»

И ниже, отдельной строкой, ровной, как команда:

«666».

Марк сидел на полу, среди бумаг, среди осколков, и смотрел на погасший экран. И впервые за три дня он позволил себе произнести вслух то, что с самого начала знал с той особенной, холодной, неопровержимой уверенностью, с какой люди принимают самые страшные решения:

— Мне нужен кто-то, кто видит то же, что и я.

Он поднял трубку стационарного телефона — единственную, что осталась в доме не разбитой, — и набрал номер, который выучил наизусть ещё в детстве, номер своего единственного оставшегося в живых родственника — троюродного дяди, старого военного врача, про которого в семье говорили «Ирина знает всё, но молчит». Дяди у него не было; была тётя, медсестра, ушедшая в отставку полковником, и звали её Ирина Всеволодовна Дежнёва, и жила она в деревне Степаново, в Тверской области, у чёрта на куличках, без связи, без телевизора, без телефона — и тем не менее Марк почему-то был уверен, что она поднимет трубку на первом же гудке.

Телефон на том конце дал три длинных гудка. Потом четвёртый. Потом — вместо обычного «абонент недоступен» — раздался щелчок, и женский голос, ровный, сухой, с той особенной интонацией, какой говорят люди, которые много лет командовали и разучились просить, сказал:

— Да. Я знаю, кто ты. Слушай меня внимательно и не перебивай. Завтра в десять утра я буду в Москве, на Курском вокзале. Приходи один. Не бери телефон — его слышат. Не бери ничего из дома, что пахнет твоим домом: они по запаху находят. Принеси только дело. И, Марк, — голос на секунду дрогнул, впервые дрогнул, как дрожит слишком туго натянутая струна, — если ты ещё не понял, что происходит, — пойми сейчас: он не пришёл. Его ещё нет. Но он уже вошёл. Дверь открыта, Марк. Все три двери, какие есть в этом доме, открыты настежь, и я не знаю, кто из нас первым пожалеет о том, что мы их открыли.

В трубке щёлкнуло. Марк положил трубку и долго сидел в темноте, не зажигая света, слушая, как за окном город дышит ровно, монотонно, как лес без ветра, — и как под этим дыханием, на самой границе слышимости, скребёт, точит, подтачивает что-то: то ли металлический лист, готовя в нём проём, то ли дверь, которую пытаются закрыть изнутри, наощупь, во тьме.

В четыре часа утра, когда он наконец задремал, сидя за столом, ему приснился сон. Ему снилось, что он стоит в огромном, пустом, хорошо освещённом зале, где вдоль стен, до самого потолка, стоят стеклянные шкафы, и в каждом шкафу, на каждой полке, в каждом ящике — лежат маски. Кислородные маски. Белые, пластиковые, с резинками и гофрированными шлангами — и все они дышат, все наполняются и сдуваются, наполняются и сдуваются, в одном ритме, в одном такте, и Марк идёт между шкафами, и слышит за собой шаги, и не оборачивается, потому что знает: за ним идёт человек в белом халате, и у человека этого нет лица, а

вместо лица — маска, та же самая, кислородная, и она дышит, дышит за него, за Марка, за всех, кто когда-либо стоял в этом зале.

Марк проснулся в шесть утра с ощущением, что во рту у него сухо, а на губах — привкус резины, как будто он всю ночь дышал через чужой шланг. Он встал, умылся холодной водой, собрал «Дело 666» в старый школьный ранец, — единственную вещь в доме, которая не пахла ничем, кроме детства, — и в восемь утра вышел из квартиры, закрыв за собой дверь на один замок. Ему показалось, что из-за двери, изнутри, из темноты квартиры, ему ответили — ровным, терпеливым, бесконечным дыханием, которое поднималось из-под пола, из-под стен, из-под этого целого города, умытого и причёсанного перед чьим-то приездом.

В девять часов утра того же дня, в Ростове-на-Дону, в квартире Кругловых, на полу детской комнаты, среди цветных карандашей, сидела Аня Круглова и рисовала.

Она рисовала уже третий день подряд, не отрываясь, почти не спавши: город за городом, этаж за этажом, башню за башней, — и все они были одной и той же картиной, которую она нарисовала в ночь смерти Реброва, — и все они были разными. Город рос. В первый день это был чертёж, ровный и страшный, как инженерный план. Во второй — город стал живым: она добавила окна, в окнах — свет, на балконах — людей, в людях — лица. В третий день она рисовала город, в котором уже были улицы, скверы, фонтаны, мосты, — и над всем этим, в самом центре, по-прежнему высилась тонкая, как игла, башня, и вокруг неё, как планеты вокруг солнца, висели другие башни, соединённые прозрачными мостами.

Мать Ани, женщина тридцати восьми лет, бухгалтер, человек, который всю жизнь жил по безналичному расчёту и верил в то, что всё в мире можно подсчитать заранее, — сидела на кухне и смотрела на свою девочку через полуоткрытую дверь. Она уже не пыталась увести Аню от рисунков. Она уже не пыталась спросить, что это такое. Она смотрела на дочь, на её спину, на её плечи, на то, как девочка, склонившись над листом, выводит карандашом ровные, бесконечные линии, — и слушала, как по всем телефонам города, по всем экранам, по всем радиоточкам, ровно в девять, ровно в ту минуту, когда Аня снова подняла чёрный карандаш, зазвучал голос.

— Доброе утро, — сказал голос. — Меня зовут Симон Ланге. Спасибо, что выпустили свет. Сегодня мы сделаем ещё один шаг навстречу друг другу. Сегодня мы закрываем последнюю дверь, за которой пряталась боль, — и открываем ту, за которой начинается завтра. Впереди у нас много работы. Но сначала я хочу, чтобы вы знали: вы не одни. Мы — одно. Мы — тело, у которого больше не будет ран. Мы — дыхание, которое больше не будет задыхаться. Мы — это дверь, которая никогда не захлопнется.

Мать Ани слушала, и с ней что-то происходило. Не то, что происходит с людьми, когда они соглашаются, — то, что происходит с ними, когда они перестают возражать. Она вдруг поняла, что слушает этот голос уже не в первый раз — что слышит его каждый день, каждый час, каждый миг, с самого своего рождения, просто раньше он звучал тише, глуше, как звучит голос из-за стены. Теперь стена истаяла. Она поднялась, пошла на кухню, налила себе воды, выпила её, не почувствовав вкуса, и вернулась к двери детской.

Аня сидела на полу и рисовала. И мать вдруг заметила то, чего не замечала три дня: девочка была одета по-уличному. В куртке. В шапке. В ботинках. Рюкзачок, маленький, школьный, стоял у двери, собранный, застёгнутый, — и оттого, что Аня была одета вот так, готовой уйти, у матери на секунду остановилось сердце.

— Аня, — сказала она тихо. — Ты куда собралась?

Аня не обернулась. Она дорисовала последнюю линию — тонкую, как волос, прямую, как отвес, — и положила карандаш.

— Я не знаю, мама, — сказала она. — Мне кажется, мне нужно помочь человеку, который потерял свою книгу. Он не знает, где искать. А я знаю. Я её видела: она под землёй, в горах,

там, где под землёй не спят. Там тоже есть дверь, и она открыта. Мне нужно сходить и сказать ему, что он не один.

— Кому — ему? — спросила мать, и голос её сел.

— Тому, кто читает книгу, — сказала Аня. — Тому, кому её отдали. Он скоро будет в Москве, а потом поедет туда, где гора. Я должна встретиться с ним у вокзала. Мама, ты не против?

Мать стояла в дверях и не знала, что ответить — потому что в этом вопросе, ровном, спокойном, деловитом, каким спрашивают «что на обед», не было ничего детского, ничего от девочки девяти лет, — и вместе с тем от него невозможно было отказаться, как нельзя отказаться от света, который уже вошёл в дом. Мать шагнула к Ане, присела на корточки, взяла её лицо в ладони, посмотрела в глаза — серые, ясные, бездонные, с тем особенным, недетским, спокойным взглядом, каким смотрят люди, которые давно всё решили, — и спросила:

— Аня... ты понимаешь, что говоришь про него... про этого Ланге?

— Про кого напоминает его голос, мама? — спросила Аня, и вопрос этот был задан так спокойно, что мать сначала не поняла его смысла. А потом поняла — и встала, и отступила от дочери, и прижала руки к груди, потому что голос девочки, ровный, сухой, с той особенной интонацией, какой говорят люди, которые много лет командовали и разучились просить, — повторил в её ушах, с железной отчётливостью:

— Он напоминает голос из твоего сна, мама. Из твоего самого старого сна. Из того сна, который ты никогда никому не рассказывала, потому что боялась, что тебе поверят. Ты знаешь, о каком сне я говорю. Он всегда был. Только раньше он звучал из-за стены. А теперь стены нет.

Мать стояла, не дыша, глядя на дочь, на её куртку, на её рюкзачок, на город за окном, нарядный, умытый, причёсанный перед чьим-то приездом, — и слушала, как из всех динамиков, из всех телефонов, из всех радиоточка города, по-прежнему ровно, терпеливо, бесконечно, дышит голос человека, которого зовут Симон Ланге, и как под этим дыханием, на самой границе слышимости, скребёт, точит, подтачивает что-то — то ли металлический лист, готовя в нём проём, то ли дверь, которую закрывают с той стороны.

В одиннадцать утра того же дня, на Курском вокзале, среди толпы, одетой одинаково ровно, одинаково спокойно, идущей с одинаковым, счастливым, ничего не требующим выражением лиц, стояли двое: женщина пятидесяти двух лет с рюкзаком за плечами и мужчина четырнадцати лет — нет, девятилетняя девочка в куртке и шапке, с маленьким школьным рюкзачком у ног. Они не знали друг друга. Они никогда не видели друг друга. Но когда женщина, оглядывая перрон, повернулась, а девочка подняла голову, — они встретились глазами, и ни та ни другая не удивилась, потому что обе знали: то, что должно было сойтись, сошлось. И третьим к ним, пробираясь через толпу, тяжело, по-медвежьи, с ранцем через плечо, шёл человек в пальто, с усталыми глазами, — и за поясом у него, в школьном ранце, лежала папка с треугольным штампом «Архивное дело 0666/33».

И когда они втроём, впервые за все времена, впервые за все жизни, стояли рядом, — над вокзалом, над городом, над всей этой нарядной, умытой, причёсанной землёй прошло что-то: не звук, не свет, не тень. Это прошло сухим, коротким, как вздох, сквозняком — и по перрону, по толпе, по всем счастливым, ничего не требующим лицам пробежала дрожь, на секунду, на миг, — и в этом миге, в этой дрожи, всем троим одновременно показалось, что они слышат под ногами, под бетоном, под рельсами, под вечной мерзлотой собственной уверенности, — дыхание.

Очень большое. Очень старое. Очень довольное.

А над ними, с транспаранта, перекинутого через вокзал, на них смотрело лицо человека, которого зовут Симон Ланге, — молодое, гладкое, невыразимо приятное, — и улыбалось. Улыбкой человека, который говорит правду и ждёт, что ему поверят.

И внизу, под улыбкой, было написано:

**КЛЕЙМО. МИР БЕЗ БОЛИ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗАВТРА.**

## ГЛАВА 2. ГОСТЬ ИЗ АРАМЕЙСКОГО ВЕКА

*«Гость не входит в дом, когда открывают дверь. Гость входит, когда перестают спрашивать, кто стоит за дверью.» — афоризм из «Логике порога», собрание изречений»*

Они познакомились у камеры хранения Курского вокзала, в толпе, которая двигалась с одинаковыми, спокойными, ничего не требующими лицами, и ни один из троих не произнёс ни слова приветствия — потому что каждый из них уже знал двух других. Знание приходило не через слова, а иным путём, древним, каким узнают друг друга люди, носившие когда-то одну и ту же боль: через запах, через груз, через то, как человек держит своё тело — как контейнер, в котором везут слишком много и слишком мало.

Ирина первая шагнула к Марку. Она оглядела его с головы до ног — взглядом полковника медицинской службы, который тридцать лет учился читать людей по одному прищуру, — и коротко кивнула:

— Папка у тебя?

— Здесь, — сказал Марк, и оттого, что слово это оказалось правдой, на душе у него вдруг полегчало: впервые за три дня, впервые за все эти вечера, когда он раскладывал двенадцать листов по полу, — впервые он был не один.

Ирина перевела взгляд на девочку. Аня стояла у ног женщины, прислонившись к рюкзаку, спокойная, терпеливая, как взрослая, и держала в руке лист бумаги, сложенный вчетверо, — тот самый, с человеком в белом халате, с закрашенным чёрным лицом.

— Это Аня, — сказала Ирина, и это было представление, а не вопрос. — Она пришла на Курский вокзал, потому что ты позвонил мне, а я — потому что мне снился этот вокзал три ночи подряд. А теперь скажи мне, Марк, ты знаешь, зачем мы здесь?

Марк молчал. Он стоял, глядя на девочку, на её лист, на закрашенное чёрным лицо на бумаге, и в груди у него, там, где у людей находится сердце, а у него уже три дня была холодная, ровная пустота, — эта пустота вдруг шевельнулась, как шевелится во сне зверь, и проговорила чужим, нездешним голосом:

— Мы здесь, чтобы найти книгу.

Ирина медленно кивнула. Аня не шевельнулась. А над вокзалом, из всех динамиков, из всех репродукторов, ровно в полдень, зазвучал голос — и все трое, не сговариваясь, подняли головы и посмотрели на транспарант, на лицо, на улыбку человека, которого звали Симон Ланге, и слышали, как он говорит:

— Добрый день. Сегодня, в полдень, я обращаюсь к вам не как к толпе и не как к городу. Я обращаюсь к вам, как к друзьям, которые вместе прошли долгий путь — путь из боли в завтра. Мы сделали первый шаг. Мы сделали второй. Мы закрыли дверь, за которой пряталась боль, и открыли ту, за которой начинается свет. Но я должен сказать вам правду, и правда эта проста: свет — это работа. Свет — это усилие. Свет — это то, что мы строим вместе, каждую минуту, каждой своей клеткой. И потому я прошу вас, мои друзья: не останавливайтесь. Идите за мной. Идите в завтра, где нет ни боли, ни страха, ни тьмы. Идите, и я буду идти вместе с вами. Всегда.

Голос умолк. Толпа на перроне, слушавшая его, подняла головы — тысячи лиц, одинаково спокойных, одинаково счастливых, одинаково ничего не требующих, — и по тысячам лиц этих пробежала одинаковая волна: не восторга, не согласия, а того, что у людей называется «любовь». Любовь без имени, без адресата, без вопроса — любовь, которая не спрашивает, кто её вызвал, потому что ей это не нужно.

Ирина смотрела на толпу, и ей казалось, что она видит не людей, а одно большое, тёплое, дышащее тело: миллионы клеток, которые движутся в одном ритме, одной волной, к одному центру. Она видела это, потому что тридцать лет резала людей и знала, как выглядит живая

ткань, когда ей передают приказ — очнись, сократись, живи, — и ей стало холодно, по-настоящему холодно, как не было холодно ей никогда, даже в 2014-м, в той командировке, о которой не говорят вслух.

— Он не говорит, — сказала она вслух, не оборачиваясь. — Он не говорит ничего. Он просто показывает. И мы все показываем ему, что приняли.

Марк сглотнул.

— Что приняли?

— Согласие, — сказала Ирина. — Он говорит, что свет — это работа, и мы ему верим, потому что он говорит это голосом, который звучит у каждого из нас в груди — ровно так, как звучит наш собственный голос, когда мы наконец решаемся сказать правду. Он говорит на языке, который каждый понимает как родной, — и это не русский и не английский, не немецкий и не китайский. Это тот язык, на котором говорили до разделения языков, — язык, в котором каждое слово звучит внутри, а не снаружи. Я слышала его в детстве, Марк. Я слышала его всегда. И я знаю, откуда он у нас. Из той книги, которую мы должны найти.

Она помолчала, достала из кармана куртки отцовский блокнот, раскрыла на последней странице и дала Марку прочитать строку, выведенную карандашом под диктовку кого-то, кто знал, что его уже не успеют прочитать:

«У боли нет числа. У двери — есть».

— Мой отец написал это в 1996-м, за шесть месяцев до того, как пропал в экспедиции под Кунгуром, — сказала Ирина. — Тридцать лет я считала, что это значит «боль бесконечна, а человек бессилен». Теперь я понимаю, что это значит другое. Боль не бесконечна. У неё нет числа — но у двери, за которой она живёт, — есть. И если мы хотим понять, что происходит, нам нужно найти эту дверь. Нам нужно найти книгу, в которой написано, как её закрывают.

— Книгу, — повторил Марк. — Ребров писал о «Кните Порогов». Он писал, что она — в Кунгуре. Под землёй. Там, где не спят.

— Туда мы и поедem, — сказала Ирина.

Аня подняла голову. Она стояла всё это время, не шевелясь, держа в руке сложенный лист, — и теперь, впервые с момента их встречи, раскрыла его и протянула Ирине. На листе, кроме человека в белом халате и закрашенного чёрным лица, были нарисованы горы. Высокие, серые, сложенные из острых граней, как из осколков, — и в основании гор, глубоко под землёй, тонкой белой линией — дверь. Дверь была открыта. За ней, в глубине, стоял не человек в белом халате, а что-то иное: нечто, чему Аня не могла дать названия, но что в её рисунках всегда занимало одно и то же место — на самом дне, в самом центре, за всеми башнями, за всеми стенами, за всеми воротами.

— Она в горе, — сказала Аня спокойно. — Я видела её во сне. Он тоже её видит — тот, кто потерял книгу. Мы поедem туда вместе, да? Мы поедem туда, и я покажу вам, где она. Только, — она помолчала и добавила так, как добавляют взрослые, когда говорят о самом страшном, стараясь, чтобы голос не дрожал, — только мы должны успеть. До того, как он включит свет.

— Он уже включил, — сказал Марк.

— Это был не тот свет, — сказала Аня. — Это был свет, чтобы все посмотрели на него. Настоящий свет — другой. Он загорается не снаружи, а внутри. И когда он внутри — тогда уже нельзя будет ничего увидеть снаружи. Тогда дверь захлопнется. И мы все останемся там, где стоим, — навсегда.

Ирина слушала, и в груди у неё, там, где три дня назад провернулся тяжёлый ключ в прожавевшем замке, — этот ключ провернулся ещё раз, до конца, до щелчка, и замок открылся. Она вдруг поняла, что девочка говорит правду — не потому, что девочка мудра, а потому, что ребёнок видит мир иначе: реже, глубже, точнее, — и в этом видении правда не украшена, а обнажена, как сердце на операционном столе.

— Хорошо, — сказала Ирина. — Едем.

Они выехали на юг — на электричке до Казани, потом на поезде до Перми, потом, уже на перекладных, — на северо-восток, к Кунгуру. Дорога заняла больше суток, и за эти сутки Марк впервые за долгое время увидел страну: не ту, что показывали по телевизору, не ту, что стояла очередями у аппаратов с искусственным снегом, а настоящую — серую, зимнюю, уставшую, с ободранными вокзалами, с бабушками, продающими семечки, с заснеженными полями, на которых, как раны, чернели полыньи. И с каждым часом дороги ему казалось, что мир, в котором он живёт, — не тот мир, который он привык видеть, а какой-то другой, более старый, более глубокий, — и что этот старый мир, лежащий под новым, как лежит под асфальтом земля, — дышит. Дышит ровно, терпеливо, бесконечно, и под этим дыханием, на самой границе слышимости, скребёт, точит, подтачивает что-то: то ли металлический лист, готовя в нём проём, то ли дверь, которую кто-то терпеливо взламывает изнутри.

В дороге они почти не разговаривали. Ирина сидела у окна, глядя на мелькающие станции, и размышляла о том, что она не сказала Марку и Ане: о том, что за три дня, прошедших с той ночи, когда она увидела лицо отца на телеэкране, — она трижды видела его во сне, и каждый раз — одно и то же. Ей снился Кунгур: старый город, белая церковь, ледяная гора с жерлом пещеры, — и она, маленькая, двенадцатилетняя, стоит у входа в пещеру и держит за руку отца, а отец говорит ей: «Смотри, Ира, смотри внимательно, потому что это — в последний раз, когда я вижу тебя по эту сторону». И она смотрит, и видит, как свет в глубине пещеры — не белый, не жёлтый, а какой-то иной, нездешний, — загорается и гаснет, загорается и гаснет, в одном ритме, в одном такте, как дыхание.

Марк сидел напротив, положив ранец на колени, и развернул «Дело 666» — в который уже раз. Он читал и перечитывал двенадцать листов, и на каждой строке, на каждом имени, на каждой дате — останавливался, потому что теперь, когда он знал, кем был тринадцатый носитель, — всё остальное читалось иначе. 1933 год. 1940-й. 1947-й. Семь лет, семь лет, семь лет — как ступени, как годичные кольца, как отсчёт. Он достал ручку и на чистом листе выписал даты столбиком:

1933 — 1940 — 1947 — 1954 — 1961 — 1968 — 1975 — 1982 — 1989 — 1996 — 2003 — 2010 — 2033.

Тринадцать точек. Тринадцать шагов. И если интервал между ними верен, если он не сбился со счёта, то следующая — 2040-й, потом 2047-й, 2054-й, 2061-й... Он смотрел на столбик и вдруг понял, что видит не тринадцать точек, а одну линию, прямую, как отвес, — линию, которая тянется из глубины веков в глубину веков, и на этой линии, как на шнурке, нанизаны не только эти даты, но и тысячи других, которые он ещё не открыл: линия была бесконечной. Она шла из тьмы и уходила во тьму, и на ней, в одной точке, — в этой точке, сегодняшней, мартовской, — стоял он сам.

Марк спрятал лист, закрыл ранец и посмотрел на Аню. Девочка спала, положив голову на рюкзак: лицо её было спокойное, почти прозрачное, и во сне она улыбалась — странной, тихой, недетской улыбкой, какой улыбаются люди, которым снится то, что они видели наяву.

Поезд шёл на восток. За окном темнело быстро, как темнеет только в конце зимы, когда света уже много, а тепла ещё нет, — и в этой синей мартовской мгле, на каждом столбе, на каждом заборе, на каждой дощатой стене придорожного сарая, Марк видел одно и то же: портрет. Лицо. Улыбку человека, который говорит правду и ждёт, что ему поверят. Лицо было везде — на стенах, на заборах, на брошенных железнодорожных вагонах, на бетонных плитах, — и нигде, ни разу, за всю дорогу Марк не увидел ни одного лица, нарисованного неаккуратно, по-людски, с мазком или с кривизной. Везде — одна и та же точность, одна и та же гладкость, одна и та же улыбка. Как будто все портреты в стране печатал один-единственный, идеальный, бесконечный станок, которому не нужны ни краска, ни кисть, — которому нужна только стена.

Он провалился в сон на подъезде к Перми и проснулся от того, что поезд стоял. За окном было темно, на перроне — пусто, и фонари горели ровно, как будто их кто-то расставил по линейке. Ирина тронула его за плечо:

— Приехали. Выходим.

Они вышли на перрон, и в ту же секунду, как нога Марка коснулась бетона, он услышал то, что не слышал никогда в жизни: тишину. Не городскую, не деревенскую, не вокзальную тишину, а тишину какой-то — иной, нездешней полноты: такую, какая бывает на дне колодца, или под землёй, или в комнате, из которой только что вынесли покойника. Тишину, в которой слышно, как дышит — не человек, не толпа, а сама земля: ровно, терпеливо, бесконечно.

Аня тоже проснулась. Она шла между ними, держа Ирину за руку, и, не поднимая головы, сказала:

— Мы почти приехали. Осталось ехать на северо-восток, в горы. Там дверь.

И Марк, глядя на неё, вдруг понял, что слышит в её голосе не детскую веру, а знание — то же самое знание, с которым люди говорят о вещах, которые они видели собственными глазами.

Они сели в автобус, идущий на Кунгур, — старый, дребезжащий, с ободранными сиденьями, где на каждом сиденье, на каждом подлокотнике, на каждой стене — снова было лицо, улыбка, «КЛЕЙМО. МИР БЕЗ БОЛИ». Автобус ехал по ночной дороге, между заснеженными полями, мимо деревень, в которых не горело ни одно окно, — и Марк не знал, почему ему страшно, но ему было страшно так, как не было страшно никогда: потому что за все эти часы пути — за весь этот длинный путь, от Москвы до Кунгура, — он не увидел ни одного человека, который бы торопился. Ни одного человека, который бы не улыбался. И ни одного человека, который бы не нёс на груди серебристой броши.

Он посмотрел на Ирину, на её одинокий рюкзак, на Аню, на её школьный ранец, — и вдруг понял, что они трое — единственные люди на этой земле, которые идут не в том направлении, в каком идёт толпа. Единственные, кто едет на северо-восток, в горы, к двери, — когда вся страна, весь мир, вся земля едут на юго-запад, в завтра, к свету.

Автобус остановился у светофора. На обочине, перед закрытым киоском, стоял человек — старый, сгорбленный, в телогрейке, с палкой в руке, — и смотрел на автобус. Смотрел не на Марка, не на Ирину, не на Аню — смотрел прямо на них, на троих, сквозь пыльное стекло, — и медленно, очень медленно, как человек, который не решается, но должен, перекрестился — широким, размашистым, старым крестом, каким крестятся только в деревнях, оставшихся в прошлом веке, — и шевельнул губами.

У Марка заложило уши: так закладывает, когда рядом происходит то, чему нет объяснения. Он не услышал, что прошептал старик, — но прочитал по губам. Три слова. Три слова, от которых у него похолодело в груди и пересохло во рту:

— Не ездите туда.

И автобус тронулся, и старик остался позади, на обочине, под светофором, среди ночной дороги, один, сгорбленный, с палкой — единственный человек за все часы пути, который не улыбался.

Ирина тоже видела его. Она сидела, глядя в окно, и молчала так долго, что Марк уже решил, что она не скажет ничего. Но на подъезде к Кунгуру, когда за окном, в серой предрасветной мгле, показались силуэты гор — невысоких, пологих, покрытых снегом, — она сказала:

— Он был из тех, кто остался. Девять лет назад, когда я ушла в отставку, я думала, что таких больше нет. Что все они либо ушли, либо умерли, либо сломались. А он — остался. И если он сказал «не ездите», значит, он знает, что там, в горах, — не книга.

— А что там? — спросил Марк.

Ирина не ответила. Она смотрела в окно, на горы, на снег, на серую мглу, — и Марк вдруг заметил, что я сказал ей: она уже не молода, да, но в ней есть что-то от человека, который

идёт в бой, — спокойная, скупая, огромная готовность, которая не спрашивает, откуда придёт удар, потому что знает: он придёт отовсюду.

Автобус повернул. Впереди, на холме, над спящим городком, над белыми крышами, над заснеженными садами, высилась гора — невысокая, белая, как всё вокруг, — и в основании её, где склон переходил в постройки старинного монастыря — или того, что от него осталось, — чернело жерло пещеры.

Ирина, Марк и Аня смотрели на него, и у всех троих, у каждого по-своему, было одно и то же чувство: чувство, что они приехали не на станцию и не в город, а к двери — той самой двери, которую они искали и которая ждала их всё это время.

Дверь была открыта.

Автобус остановился на площади перед городком. Городок был маленький, старый, купеческий — с белыми церквями, с облезлыми особняками, с заколоченными лавками, — и весь он, от края до края, от охры церковных стен до серого неба, был затянут той особенной, зимней, глубокой тишиной, какая бывает только в провинции, куда не дошли ни поезда, ни портреты, ни свет. Портретов здесь не было. Ни на стенах, ни на заборах, ни на столбах. И оттого, что их не было, Марку вдруг стало до слёз хорошо — как становится хорошо в доме, где давно не топили, но который помнит тепло.

Они вышли на площадь. Тишина стояла такая, что слышно было, как скрипит снег под ногами и как дышит — это был не звук, а чувство, — как дышит гора. Ирина остановилась, оглядела площадь, достала из кармана отцовский блокнот, раскрыла его и посмотрела на последнюю страницу, на строку, выведенную карандашом тридцать семь лет назад, — и вдруг, неожиданно для самой себя, произнесла вслух:

— Мой отец приехал сюда в марте 1996-го. За полгода до того, как пропал. Он был геофизиком и занимался здесь, в горах, не геофизикой. Я знаю это, потому что он оставил дома дневник — настоящий, рабочий дневник, с расчётами и схемами. В последней записи он писал, что местные «не понимают, что у них под ногами», и что он «нашёл вход». Она замолчала, глядя на гору. — Тридцать семь лет я думала, что отец сошёл с ума. Теперь я не уверена, что сошёл он.

— А что он нашёл? — спросил Марк.

— Не знаю, — сказала Ирина. — Но я знаю, где искать. У подножия горы, рядом с жерлом пещеры, есть старый скит. Отец писал, что скит этот стоит на «закупоренном ходе» — на входе, который завалило в тридцатые годы, при строительстве. Он писал, что ходил туда по ночам, потому что днём «они» не спят. Я всегда думала, что «они» — это местные, сторожа, колхозное начальство. Теперь я не уверена.

Они двинулись через городок, по заснеженной улице, мимо заледенелых витрин, мимо заколоченных ворот, мимо деревянных домов с резными наличниками, из-за которых, в щелях, чуть тлел тёплый свет, — и Марк, идя между Ириной и Аней, ловил себя на том, что всё время прислушивается: не к шагам, не к ветру, а к той глубокой, ровной, терпеливой тишине, которая шла из-под земли, из-под снега, из-под этого городка, — и которая, казалось, слегка менялась, когда они приближались к горе: как меняется гул, когда подходишь к спящему зверю.

У подножия горы, среди заснеженных кустов, стоял скит — деревянный домик с покатою крышей, с покосившимся крыльцом, с крестом над дверью. Дверь была притворена, но не заперта. Ирина поднялась на крыльцо, толкнула дверь плечом, — она подалась легко, со скрипом, как будто её открывали совсем недавно, — и они вошли внутрь.

Внутри пахло воском, старым деревом и — чем-то ещё, чем пахнут комнаты, в которых кто-то живёт и которые кто-то покинул недавно, оставив на столе недопитую чашку. Вдоль стен стояли лавки. В углу — печь, чуть тёплая. На столе — книга в чёрном переплёте, свеча, огарок, и рядом — лист бумаги, исписанный мелким, убористым, старым почерком.

Ирина подошла к столу. Прочитала лист. И, не поднимая глаз, сказала:

— Марк, подойди сюда. Это написано для нас.

Марк подошёл. На листе, выведенном химическим карандашом, тем же почерком, каким была исписана тринадцатая страница «Дела 666», стояло:

«Тем, кто придёт третьим. Я видел вас в дыму: двое и одна, и та, что маленькая, вела вас. Я уйду, потому что не могу смотреть, как оно просыпается. Мне девяносто лет, и я видел многое: я видел, как оно спало, я видел, как оно шевелилось во сне, я видел, как они приходили — каждые семь лет, — и уводили одного из нас. Я не знаю, что вы ищете. Я знаю только, что вход, о котором вы спрашиваете, — под алтарём. В тридцать третьем году его заложили не для того, чтобы спрятать, а для того, чтобы не выпускать. Если вы решите спуститься — не берите с собой ничего, что издаёт звук. Оно слышит не звук, а дрожь. И не берите с собой света, который горит от электричества: ему всё равно, какой у вас фонарь, у него свои глаза. Спускайтесь при свече. И, если сможете, вернитесь до темноты, потому что после заката оно кормится — и то, что выйдет из земли следом за вами, — будет уже не вами».

Ирина дочитала, перевела дыхание и положила лист на стол, рядом со свечой.

— Он ушёл сегодня утром, — сказала она. — Печь ещё тёплая.

— Кто — он? — спросил Марк.

— Тот, кто ждал нас тридцать семь лет, — сказала Ирина. — Тот, кто переписывал это письмо каждый год, для каждой новой тройки, которая приходила сюда и уходила ни с чем. И тот, кто не выдержал, когда узнал, что она пришла.

Она взглянула на Аню. Девочка стояла в углу, у печи, положив ладони на тёплый бок, и смотрела на пол — на половицу, под которой, если верить письму, был алтарь и ход.

— Он боялся не хода, — сказала Аня. — Он боялся того, что я вижу. Он понял, что я вижу то же, что видел он, — и что я не испугалась. Ему девяносто лет, и он один провёл всю жизнь. А я — маленькая. Мне не страшно. — Она подняла голову и посмотрела на Ирину прозрачными, спокойными глазами. — Пойдёмте вниз. Он ждёт.

— Кто ждёт? — спросил Марк, и голос его сел. — Книга?

— Нет, — сказала Аня. — Книга не ждёт. Книга лежит. Ждёт — он. Тот, кто её держит. Тот, кто так долго держал её, что она стала частью его. Он лежит внизу, в ледяном зале, уже очень давно. И он не один.

Ирина и Марк переглянулись. Впервые за всё время их знакомства они поняли друг друга без слов: оба знали, что спрашивать больше не о чем, потому что ответ на все вопросы — внизу, под алтарём, под землёй, в ледяном зале, куда ведёт единственная дверь, которую не заложили и не запечатали, потому что её нечем было запечатать.

Ирина откинула половицу. Под ней, в глубине, за бревенчатым перекрытием, чернел ход — узкий, низкий, уходящий вниз, под гору, во тьму, в которой не было ни звука, ни света, ни времени. Ирина достала из рюкзака свечу — обычную, восковую, — чиркнула спичкой, зажгла фитиль и, не оглядываясь, первая шагнула вниз.

Марк секунду постоял на краю. Потом, оглянувшись на портрет, которого не было, на городок, в котором не было ни одного портрета, на тишину, из которой ушла боль, — взял ранец и шагнул следом.

Аня спустилась последней — легко, бесшумно, как спускаются по лестнице, которую знают наизусть. Она не взяла с собой ни свечи, ни фонаря: ей были не нужны.

Ход был низкий, сырой, пахло глиной, известняком и чем-то ещё — чем-то древним, тёплым, нездешним, отчего у Марка на секунду закружилась голова. Пол был скользким: под ногами, под тонким слоем грязи, лежал не камень и не земля, а лёд — старый, тёмный, глубокий, в котором, если присмотреться, угадывались очертания — не стен, не сводов, а чего-то иного: линий, бегущих по льду, как вены по старой, больной руке.

Ирина шла впереди, держа свечу на уровне груди, и пламя стояло ровно, не колеблясь, — хотя в ходу, наверняка, было сквозное течение, — и от этого ровного, живого, недвижимого

пламени Марку становилось нехорошо: так не горят свечи ни в одном подземелье мира. Так горят свечи только в комнатах, из которых вынесли воздух.

Ход шёл вниз, потом повернул, потом раздвоился. Ирина остановилась. Перед ними было два входа: правый — шире, выше, с остатками каменной кладки по бокам; левый — уже, ниже, сырой, уходящий куда-то в глубину, в самую темноту, в которой не было даже той искры, какую даёт самый чёрный камень.

— Туда, — сказала Аня, не останавливаясь. Она прошла мимо правого входа, не взглянув на него, и шагнула в левый — узкий, низкий, скользкий, — и пламя свечи Ирины, которая шла следом, качнулось, дрогнуло, как от ветра, — хотя ветра в ходу не было, — и Марк вдруг понял, что это не ветер: это дыхание. Скудное, древнее, терпеливое — дыхание того, кто спал под горой, — и что они, спускаясь, идут не в пещеру, а внутрь этого дыхания, как идут внутрь слова, которое ещё не произнесено, но уже начато.

Ход сузился настолько, что им пришлось идти гуськом, пригнувшись, и Марк, идя последним, ощущал, как каменные своды давят на плечи, как льдистый пол отдаёт в ступни холод, как воздух становится плотнее и тяжелее — и как вместе с плотностью воздуха и тяжестью камня в груди у него растёт, поднимается, как вода в колодце, не страх даже, а какая-то иная, более глубинная, более древняя эмоция, для которой у него не было названия. Это было чувство человека, который не первый раз спускается в это подземелье — который спускался сюда всю свою жизнь, во всех своих жизнях, — и который наконец узнаёт дорогу.

И тут ход кончился. Не упёрся в стену, а кончился — открылся, как открывается рот, — и они вышли в зал.

Зал был огромен. Так огромен, что света свечи — единственного света в этом мире — не хватало даже на то, чтобы увидеть его стены. Своды терялись в темноте; пол был — лёд, гладкий, тёмный, глубокий, и по нему, от края до края, бежали те самые линии — толстые, как запястья, тонкие, как волосы, — и все они, все до единой, сходились в центре зала, где стояло нечто.

Марк поднял свечу повыше. И увидел.

В центре зала, на льду, на коленях, лицом к ним, сидел человек. На нём была старая экспедиционная одежда — штормовка, свитер, ватник, — всё истлевшее, посеревшее, но целое, как будто время не смело коснуться его, — и руки его, лежащие на коленях, были чисты, и лицо его было чисто, и глаза его были открыты. Он сидел, глядя на них — так, как сидят люди, которые давно перестали ждать и поэтому не удивляются, когда приходят.

— Здравствуйте, — сказал человек, и голос его прозвучал ровно, сухо, как звучит голос человека, который не говорил много лет и потому не знает, зачем говорить громко. — Я вас ждал. Вы опоздали, но это неважно: время здесь стоит. Оно стоит с той самой минуты, как я вошёл сюда с книгой и понял, что выйти не смогу.

Ирина сделала шаг вперёд. Она смотрела на него, и по лицу её — по лицу полковника медицинской службы, привыкшего к любым лицам, пережившего не одно подземелье, — бежала и бежала, не останавливаясь, одна-единственная мысль, от которой у неё темнело в глазах. Она подошла ближе. Она наклонилась. Она посмотрела ему в лицо — в чистое, молодое, гладкое лицо, на котором не было ни морщины, ни бороды, ни следов тридцати семи лет под землёй, — и сказала, и голос её дрогнул впервые за много лет:

— Папа?

И человек на льду улыбнулся — спокойно, светло, как улыбаются люди, которые давно всё простили и которым нечего скрывать, — и ответил ей голосом, в котором, под тёплой, родной, знакомой интонацией, слышалось что-то ещё — что-то древнее, бесконечное, чему не было числа.

— Здравствуй, Ира. Я знал, что ты придёшь. Я всегда знал, что ты придёшь, — потому что из всех, кто ходил по этой земле, у тебя одной хватило смелости не забыть мой голос. Прости

меня за то, что я не вышел к тебе наверх. Я не мог. Я не имел права выходить: пока я здесь, на коленях, в этом зале, с этой книгой в руках, — оно спит мной. Спит, как спят печатью. И если я встану — оно проснётся по-настоящему. Поэтому я сижу. Поэтому я жду. И поэтому я хотел передать тебе — всё это время, каждые семь лет, — чтобы ты пришла одна, без проводников, без света, и взяла у меня книгу, и ушла, и закрыла за собой дверь. Но ты пришла не одна. — Он перевёл взгляд на Марка, потом на Аню. — Ты привела девочку, которая видит. Это хорошо. Девочка, которая видит двери, — нужна. И ты, — он посмотрел на Марка, — принёс дело. Это тоже хорошо. Дело понадобится, когда придёт время читать.

Он помолчал. И в тишине, в глубине ледяного зала, откуда-то снизу, из-под льда, из-под земли, из-под самого дна мира — поднялся, медленно нарастая, звук: не гул, не стон, а дыхание. Ровное, терпеливое, бесконечное — дыхание того, кто спал под горой, скованный этим человеком, этой книгой, этими сорока годами бессонного бдения.

— Книга, — сказал Юрий Всеволодович Дежнёв и протянул вперёд руки, сложенные лодочкой, в которых лежал том в чёрном переплёте — тот самый, который Прозоров тремя днями раньше держал в руках в квартире Реброва, — тот самый, на первой странице которого стояла надпись: «Не дочитывайте до конца. Особенно — не читайте вслух. Особенно — не читайте при свете». — Возьми её, Ира. Возьми, и уходи, и не оглядывайся. И, когда будешь читать, — читай при свече, потому что она — единственный свет, который не принадлежит ему.

Ирина шагнула вперёд. Она взяла книгу из рук отца — она была тёплая, живая, тяжёлая, как сердце, — и, держа её в руках, посмотрела на отца в последний раз. Он сидел на льду, на коленях, сложив пустые руки на колени, и улыбался ей — спокойно, светло, как улыбаются люди, которые наконец передали самое главное и теперь могут закрыть глаза.

— Иди, — сказал он. — И не оглядывайся. Я останусь здесь до конца.

Позади них, в глубине зала, дыхание стало глубже — и Марк, оборачиваясь, успел увидеть, как по льду, от края до края, пробежала рябь — тонкая, как волос, — и как в ней, в этой ряби, на мгновение, на один миг, проступило нечто — не лицо, не тень, а очертание: огромное, тёмное, терпеливое, — и тут же схлынуло, сомкнулось, ушло в глубину.

Ирина сжала книгу. Не оглядываясь, шагнула к выходу. Марк — следом. Аня — в последнюю очередь, у самой кромки света, остановилась, обернулась и посмотрела на сидящего человека — на пленника, на сторожа, на отца — и сказала тихо, так, чтобы услышал только он:

— Вы не один. Вы никогда не были один. Мы ещё вернёмся.

И человек на льду — закрыв глаза, не поднимая головы, не делая ни одного движения, — ответил ей голосом, в котором, под тёплой, родной, знакомой интонацией, слышалось что-то ещё — что-то древнее, бесконечное, чему не было числа:

— Я знаю. Ты всегда возвращаешься.

И Аня ушла — легче, чем вошла, как будто отдала часть своего веса этому человеку, этому залу, этой книге, — и лёд под её ногами не скрипнул ни разу.

Они поднялись по узкому ходу, мимо развилки, мимо двух входов — правого, широкого, и левого, узкого, — к половице, к скиту, к серому дню, который встретил их за порогом холodom, тишиной и запахом воска. Ирина аккуратно, двумя руками, положила книгу в рюкзак, завернув её в отцовский блокнот, — как кладут в гроб самого дорогого, — и застегнула молнию.

На площади городка по-прежнему стояла тишина. Ни портретов, ни брошей, ни улыбок. Только снег, только горы, только лёгкий пар дыхания в морозном воздухе — и в груди у всех троих, у каждого по-своему, — новое, общее, огромное знание: что книга у них, что дверь открыта, что время больше не стоит, потому что оно снова пошло — пошло по их следу, ровным, терпеливым, бесконечным шагом.

Марк посмотрел на портрет, которого не было, на городок, в котором не было ни одного портрета, — и подумал, что скоро, очень скоро, у этой земли тоже будет свой портрет — и что на этом портрете будет не лицо, а дверь.

## ГЛАВА 3. ДЕЛО 666

*«Число не говорит о том, сколько вещей. Число говорит о том, сколько раз одна и та же вещь повторялась, прежде чем ты её заметил.» — из «Арифметики молчания», собрание лекций»*

Они вернулись в Кунгур к вечеру, сняли две комнаты в единственном работающем доме гостиничного типа — обшарпанном здании у церкви, где пахло борщом, нафталином и старыми часами, — и, не сговариваясь, все трое собрались в комнате Ирины, вокруг керосиновой лампы, которую нашла хозяйка, потому что «электричество у нас нынче капризное, то мигнёт, то погаснет».

Книга лежала на столе. В чёрном переплёте, тяжёлая, тёплая, — и в комнате, вокруг неё, воздух был особый: не такой, какой бывает вокруг обычных вещей. Марк не мог этого объяснить, но ему казалось, что воздух вокруг книги — плотнее, что он имеет запах, не тот, которым пахнет бумага и кожа, а тот, которым пахнет пространство перед грозой, — и что чем ближе он подходит к столу, тем сильнее этот запах.

Ирина первой нарушила молчание:

— Нам нужно решить, что мы будем делать. Мы не можем читать её здесь, при лампе, при открытых окнах. Ребров писал: «Не читайте вслух. Не читайте при свете». Значит — читать будем в темноте, при свече, и не вслух, а по одному. И, — она посмотрела на Марка, — сначала ты расскажешь мне всё, что знаешь. Всё, от начала. «Дело 666», эти двенадцать смертей, эти тринадцать строк. Я должна понять, с чем мы имеем дело, прежде чем откроем книгу.

Марк кивнул. Он достал из ранца папку, разложил на столе двенадцать листов — от 1933-го к 2010-му, — задержал палец на тринадцатой строке и начал рассказывать.

Он рассказывал долго, спокойно, как рассказывают о вещах, которые перестали пугать потому, что дошли до них: о том, как в статистических сборниках, в моргах, в архивах, в старых газетах он находил снова и снова одну и ту же цепь — каждые семь лет, ровно семь лет, с точностью до недели, на планете умирал человек, чья смерть не поддавалась объяснению. О том, как он выписал даты столбиком и увидел, что они складываются в прямую линию. О том, как в каждом случае — в каждом, без исключения — за год до смерти человека наступало признание: награда, публикация, реабилитация, открытая истина, — как будто кто-то, кто вёл этот учёт, отмечал каждую душу перед тем, как забрать её. И о том, как в тринадцатый раз, в марте 2033-го, цепь — впервые за девяносто лет — была прервана: носитель, лингвист Ребров, умер не от чужой руки и не от необъяснимой болезни, а на операционном столе, под скальпелем, от остановки сердца, — и перед смертью произнёс слово, которое Марк слышал только из выключенного телефона: «гаввах».

Ирина слушала, не перебивая. Когда он кончил, она молчала долго, глядя на двенадцать листов, — и наконец сказала:

— Ты спрашиваешь себя, почему тринадцатая цепь оборвалась. Я отвечу тебе. Она оборвалась не потому, что Ребров был сильнее других. Она оборвалась потому, что в марте 2033-го в мире произошло событие, которое изменило правила: проснулся тот, кто держит эти цепи. Он перестал ждать. Он перестал отмерять по семь лет. Он решил взять всё сразу. — Она помолчала. — Каждые семь лет, Марк, из этого мира забирали по одной душе — по одной, из семи миллиардов. Не для того, чтобы убить. Для того, чтобы проверить: снабжение идёт? Идёт ли боль, которую мы отдаём, туда, куда нужно? Один человек в семь лет — это не жертва. Это калибровка. Проба. Отметка на шкале того прибора, которым измеряют мир. И всю свою жизнь — девяносто лет — этот прибор показывал исправно: боль идёт, поток ровный, уровень растёт. А потом пришёл Ланге и изменил этот уровень.

Марк сглотнул.

— Каким образом?

— Он обещал выключить боль, — сказала Ирина. — И он её выключает. По всему миру, с утра до вечера, люди принимают «Клеймо» — и боль из них уходит. Ты не замечал? Ты не заметил, что за три дня, с того утра, когда он включил свет, — в этом городе, в этих очередях, в этих счастливых лицах — никто не плачет? Никто не злится? Никто не боится? Ты видел, как они стоят у аппаратов с искусственным снегом и улыбаются, и никто не толкается. Ты думал — это покой. А это не покой, Марк. Это — слив. Боль уходит не в никуда. Она уходит вниз. Она уходит туда, где кто-то очень большой, очень старый и очень терпеливый просыпается, потому что его наконец-то кормят от пуза.

Она посмотрела на книгу.

— Ребров знал это. Ребров перевёл это. И перед смертью он успел сказать тебе — сказать всем нам — то слово, которое открывает дверь. «Гаввах» — это не заклинание и не имя. «Гаввах» — это то, что он ест. Это боль. Излучение страдания. Пища, на которой он растёт и поднимается из глубин. И чем больше мы отдаём ему боли — а мы отдаём её каждый раз, когда плачем, злимся, боимся, ненавидим, — тем больше он просыпается. Ланге обещает нам мир без боли. Он не врёт — он действительно выключит боль. Но боль не исчезнет. Она просто перетечёт из наших тел — в его.

— А что будет, когда он наестся? — тихо спросил Марк.

Ирина не ответила. Она смотрела на книгу, на пламя керосиновой лампы, на двенадцать листов «Дела 666», разложенных на столе, — и Марк вдруг понял, что ответ она знает, но не хочет произносить его вслух, потому что некоторые истины, произнесённые вслух, становятся телом, а тело не уничтожить.

— Аня, — сказала Ирина, не поворачиваясь, — ты видишь его? Ты видишь того, кто там, внизу?

Аня сидела в углу, на табурете, обняв колени, и смотрела на дверь комнаты — на обычную, дощатую, крашеную дверь, за которой была гостиничная прихожая, — и на лице её, в свете лампы, было то спокойное, прозрачное, недетское выражение, которое Марк уже научился узнавать и которого боялся больше всего.

— Он не внизу, — сказала Аня. — Он везде, где боль. Он в каждой комнате, где плачут. Он в каждом доме, где боятся. Он в очереди у аппарата, когда человек отдаёт ему свою боль, потому что думает, что отдаёт её в никуда. Он — это всё, что мы отдаём, когда не знаем, кому отдаём. — Она помолчала. — Он был всегда. Он — это дверь, которую мы держим открытой, потому что нам сказали, что за ней — свет. А за ней — темнота. Но мы не знаем, что это темнота, потому что свет, который нам показали, — был его светом.

— Его светом? — переспросил Марк.

— У него нет света, — сказала Аня. — У него нет ничего своего. Всё, что у него есть, — он берёт. Он взял голос, которым говорит Ланге, — потому что Ланге... — она запнулась, подбирая слово, — Ланге — это не он. Ланге — это дверь. Очень красивая дверь, очень хорошая дверь, такая, что все идут в неё, думая, что она ведёт в сад. А она ведёт вниз.

Ирина медленно кивнула. Она поднялась, подошла к столу, взяла книгу, села с ней в углу, у стены, где не было окон, — и, не зажигая света, не снимая обёртки, осторожно, двумя пальцами раскрыла переплёт.

В комнате, на самом краю слышимости, что-то вздохнуло.

Марк и Аня смотрели на неё. Ирина, не поднимая глаз, произнесла — не вслух, а про себя, одними губами, как произносят самые важные слова, которые не предназначены для слуха, — и в этот момент Марк, стоящий в двух шагах от неё, вдруг услышал — нет, не услышал, а почувствовал: в груди у него, там, где у людей находится сердце, а у него уже четыре дня была холодная, ровная пустота, — эта пустота вдруг шевельнулась, и по ней, от края до края, пробежала та самая рябь, какую он видел на льду в ледяном зале: тонкая, как волос, — и в ней,

на мгновение, на один миг, проступило нечто — не лицо, не тень, а очертание — огромное, тёмное, терпеливое, — и тут же схлынуло, сомкнулось, ушло в глубину.

Ирина закрыла книгу. Лицо её было спокойно, но Марк видел, как побелели пальцы, которыми она держала переплёт.

— Я прочитала первую страницу, — сказала она. — Одну страницу. И я поняла, почему Ребров предупреждал. Она не для чтения вслух. Она для чтения в одиночку, в темноте, по одному слову. И она... она не переведена. Это не перевод, Марк. Это — одна из немногих книг в мире, которая написана сразу на всех языках сразу. Она написана на языке, который каждый читающий слышит как родной. Ты читал её?

Марк покачал головой.

— Тогда прочитай первую страницу, — сказала Ирина и протянула ему книгу. — Но не вслух. Про себя. И скажи мне, что ты услышал.

Марк взял книгу. Она была тёплая — теплее, чем должна быть книга в холодной комнате, — и тяжёлая, как сердце. Он раскрыл её на первой странице — на той, где стояла надпись Реброва: «Не дочитывайте до конца. Особенно — не читайте вслух. Особенно — не читайте при свете», — и, перевернув её, увидел страницу, исписанную ровным, круглым, старинным почерком, — буквы были не русские и не греческие, не арамейские и не сирийские: они были — как будто это были не буквы, а дорога, которой он шёл, — и Марк, читая их, вдруг понял, что понимает их, — понимает не умом, а чем-то глубже ума, чем-то, что в нём было задолго до того, как он научился читать.

«В начале не было ничего. В начале не было даже тьмы, потому что тьма — это уже имя. Было молчание. И в молчании этом, как в утробе, росла мысль о том, что можно быть. И когда мысль эта созрела, она стала светом. И свет этот был не один: свет был двойной. Один свет — тот, что отдаёт. Второй — тот, что берёт. И оба они были одно, и оба они были двери, и первый назвал себя Я, а второй назвал себя Я есмь. И сказал первый: да будет. И сказал второй: да будет моё. И с тех пор они борются, и борьба их — это мир, и мир этот — это дверь, в которую мы все входим, рождаясь, и из которой выходим, умирая, и в которой живём, пока дышим».

Марк дочитал страницу. Поднял голову. Лицо его было спокойно, но в глазах, в глубине их, стояло то же выражение, какое бывает у людей, которые внезапно поняли, что всю жизнь учили чужой язык, а оказывается, родной — совсем другой, и другой была вся их жизнь.

— Я слышал, — сказал он тихо. — Я слышал его, как будто читаю письмо, написанное мне лично. И в нём говорится... — он помолчал, подбирая слова, — о том, что есть два света. Один отдаёт. Второй берёт. И что мы... что мы — это дверь, в которую они оба входят.

Ирина кивнула.

— Теперь ты понимаешь, почему её нельзя читать при свете, — сказала она. — При свете электрическом, при свете дневном, при свете той лампы, которой пользуется мир, — она лжёт. Она перестаёт быть собой и становится тем, что от неё хотят услышать. Её можно читать только при свече, потому что свеча — единственный свет, который не принадлежит ему. Свеча — это мы. Это то, что мы отдаём, когда не знаем, кому отдаём, — и это единственный свет, который он не может взять.

В комнате повисла тишина — та самая, глубокая, древняя тишина, какая бывает на дне колодца, — и в ней, на самом краю слышимости, из-под пола, из-под стен, из-под этого города, стоящего у подножия горы, в которой спал тот, кого они видели во льду, — поднялся ровный, терпеливый, бесконечный звук — не гул, не гудение, а дыхание. И в этом дыхании, в этом ровном, терпеливом ритме, троим сидящим в комнате людям — пожилой женщине, держащей книгу, журналисту, держащему даты, и девочке, держащей рисунки, — вдруг, на мгновение, всему сразу, стало видно одно и то же: мост. Огромный, тёмный, терпеливый мост, перекинутый между миром, в котором боль уходит, и миром, в который она приходит, — и по этому мосту, с утра до вечера, в одном направлении, ровным, терпеливым потоком, шли — не люди,

не души, а звуки: плач, стон, скрежет, вой — всё то, что люди отдавали, когда думали, что отдают в никуда.

И в центре моста, в самой его середине, где поток был гуще всего, стоял человек в белом халате, сложив руки перед собой, и наблюдал за потоком — спокойно, терпеливо, как санитар в приёмном покое наблюдает за теми, кого привозят к нему на носилках. И у человека этого не было лица, а вместо лица была гладкая, тёплая, ровная поверхность, в которой, как в зеркале, отражался каждый, кто смотрел на него.

Марк моргнул. Видение схлынуло. Комната стояла на месте: лампа, стол, двенадцать листов, Аня в углу на табурете, Ирина с книгой у стены. И всё же, всё же, — воздух в комнате был уже не тот, что час назад: он был плотнее, тяжелее, как перед грозой, и в нём, на самом краю слышимости, всё ещё дышал тот, кого они разбудили, — дышал ровно, терпеливо, согласно, как дышит человек, который наконец получил то, чего ждал.

— Нам нужно выбираться из этого города, — сказала Ирина. — Нам нужно найти место, где его голос не слышен, и прочитать книгу до конца — всю, от начала до конца, при свече, по одному слову, втроём, — потому что только так мы узнаем, как закрывается дверь, которую он открыл.

— И куда мы поедем? — спросил Марк.

Ирина помолчала, глядя на пламя лампы, на двенадцать листов, на книгу в руках, — и ответила:

— Назад. В Москву. К Прозорову. К человеку, который держал эту книгу в руках тремя днями раньше меня, — и который, я думаю, не рассказал нам о ней всего, потому что не знал, кому её передают. Он видел сеть. Он видел чертёж. Он — первый из нас, кто увидел, — и он должен быть третьим, кто прочитает.

— А первый кто? — спросил Марк.

— Первый — тот, кто написал её, — сказала Ирина. — Тот, кого называли Иссой, и кто прошёл по этой земле две тысячи лет назад, оставив после себя не церковь и не храм, а книгу, которую никто не мог перевести, потому что она написана на языке, который каждый слышит как родной. Она дошла до нас через Кунгур, через Реброва, через моего отца, через сорок лет ледяного зала, — и теперь она наша. И мы должны быть достойны её.

Она положила книгу на стол, рядом с лампой, рядом с двенадцатью листами, и все трое долго смотрели на неё, не говоря ни слова, — потому что каждый из них, каждый по-своему, уже начал слышать в этой книге не слова, а дыхание того, кто будет читать её последним.

За окном, за тонкой занавеской, за деревянным домом, за заснеженным городом, у подножия горы, в которой спал ледяной пленник, — начиналась ночь. И в ночь эту, впервые за долгое время, в городе не горело ни одного электрического окна: только свечи, только лампы, только тот единственный свет, который не принадлежит ему, — свет, которым читают книги, открывающие двери.

Ирина задула лампу. В темноте, на ощупь, она свернула книгу в отцовский блокнот, спрятала в рюкзак, застегнула молнию — и, не зажигая света, сказала в темноту:

— Выежаем в четыре утра. Сейчас — спать.

И в темноте, в тишине, на самом краю слышимости, им всем троим показалось, что из-под пола им ответили — коротко, сухо, как вздох, — дыханием, которое на миг стало глубже, и снова стало ровным, терпеливым, бесконечным, как всегда.

Она не могла спать. Это было привычное состояние: тридцать лет военной службы, двадцать два года операционных и госпиталей, в которых «спать» — слово из другого языка, — сделали своё дело. Ирина лежала на скрипучей кровати, поверх одеяла, в куртке, не раздеваясь, — и в темноте, в тишине комнаты, где пахло нафталином и старыми часами, слушала, как дышат соседние комнаты: Марк — ровно, тяжело, как человек, который засыпает со спокой-

ной совестью и все равно не верит, что проснётся; Аня — легко, почти неслышно, как дышат дети и святые.

Она ждала. Она знала, что не уснёт, пока не узнает, — и оттого, что она знала это, ей становилось спокойнее. Она лежала с открытыми глазами в темноте и ждала того часа, когда можно будет снова открыть книгу, не боясь, что кто-то застукает её при свете.

В три часа ночи она встала. Нашарила в рюкзаке свечу — обычную, восковую, которую купила у хозяйки, — чиркнула спичкой. Огонёк вспыхнул, качнулся, выпрямился — и в комнате, в этом маленьком оранжевом круге, стало тихо и зябко, как в ледяном зале. Ирина развернула книгу. Она не стала снимать обёртку из отцовского блокнота — сняла только краешек, тот, что закрывал переплёт, — и, держа книгу на коленях, раскрыла её на первой странице.

За окном, за тонкой занавеской, город спал. В городе не горело ни одного электрического окна: только свечи, только лампы, только тот единственный свет, который не принадлежит ему. И Ирина, читая, понимала — с каждой страницей всё глубже, — почему.

Книга начиналась с «молчания» — и это было не начало, а дверь: дверь, через которую читающий входил в неё, как в некогда обжитое, но забытое жилище. На первых страницах говорилось о том, что было «до»: о двух светах, об отдающем и берущем, о том, как берущий захотел стать отдающим — не из любви, а из зависти, — и как из зависти его родилась боль, а из боли — мир, в котором живём мы, мир, в котором боль — это язык, на котором всё говорит со всем, и человек — единственное существо, которое может научиться этому языку и не говорить на нём.

«И сказал отдающий: вот дар тебе, мир, — и дал миру печаль, ибо печаль — это память о даре. И сказал берущий: вот взятка тебе, мир, — и дал миру утеху, ибо утеха — это забвение о даре. И выбрал мир утеху, ибо утеха сладка, а печаль горька. И с той поры мир не помнит, кто он, — ибо он забыл печаль, а помнить без печали — значит не помнить вовсе».

Ирина читала, и на душе у неё было так, как бывает, когда слышишь правду, которую всю жизнь знал, но не умел назвать: тесно и светло, как в комнате, из которой вынесли всё лишнее. Она читала о «двух свидетелях», которые придут в конце и будут свидетельствовать «во вретище», — и о том, что «дверь, которую он откроет, будет дверью в сад, и в саду этом не будет ни боли, ни страха, ни тьмы, — и поэтому в него войдут все, и поэтому из него не выйдет никто».

Она читала и о человеке, которого называли Иссой — о том, кто «прошёл по земле, оставив свет, а не храм», — и о том, что «книгу его нельзя перевести, ибо она написана на языке, который каждый слышит как родной, и тот, кто переведёт её, услышит не то, что в ней, а то, что в нём самом, — ибо книга эта — не слова, а дверь».

И в этом месте Ирина остановилась. Она сидела на кровати, держа книгу на коленях, и смотрела на страницу, на буквы, которые были не буквами, а дорогой, — и понимала, почему Ребров писал: «Не читайте вслух. Не читайте при свете». Потому что книга эта была не текстом, а ключом — и ключ этот отпирал не замок, а того, кто стоял за замком, — и тот, кто читал её вслух, при свете, в одиночку, — отпирал не себя, а мир.

Она закрыла книгу. Долго сидела, не двигаясь, глядя на пламя свечи, на этот ровный, живой, недвижимый огонёк — единственный свет, который не принадлежит ему, — и в тишине, на самом краю слышимости, из-под пола, из-под стен, из-под города, у подножия горы — поднялось дыхание. Ровное, терпеливое, бесконечное.

— Ты слышишь меня, — сказала Ирина негромко, в темноту. — Ты слышишь всех. Ты — этот звук, который стоит под миром, как подо льдом. Ты — тот, кто ест нашу боль. И ты думаешь, что мы не знаем, что ты ешь. Ты ошибаешься. Мы знаем. Теперь знаем.

Дыхание не изменилось. Оно было ровное, терпеливое, бесконечное — такое, каким оно было всегда, — и в этом его постоянстве была та страшная вещь, какую Ирина знала по опе-

рациональным: оно было спокойно, потому что не сомневалось. Оно было спокойно, потому что давно уже всё решило за всех.

Ирина задула свечу. В темноте, на ощупь, спрятала книгу в рюкзак, застегнула молнию. Легла. И до четырёх утра лежала с открытыми глазами, слушая, как дышит мир — ровно, терпеливо, бесконечно, — и зная, что завтра, и послезавтра, и после — она будет слушать это же, пока не закончится или не начнётся то, что должно.

В четыре утра Марк не спал уже час. Он сидел на кровати, при свете настольной лампы — единственной, которую он не погасил, потому что она была его, его собственная, и пахла его квартирой, — и раскладывал на одеяле «Дело 666»: в четвёртый раз за ночь, в сороковой раз за четыре дня.

Он уже знал «Дело» наизусть. Он мог перечислить двенадцать имён, не глядя, в правильном порядке: 1933 — 1940 — 1947 — 1954 — 1961 — 1968 — 1975 — 1982 — 1989 — 1996 — 2003 — 2010. Он мог сказать, чем занимался каждый, — все они были разные: инженеры, поэты, врачи, математики, один музейный реставратор, один радиофизик, — и все они были объединены одним: каждый из них в год своей смерти получил «признание». Награду. Публикацию. Реабилитацию. Орден. Премию. Имя на доске. И каждый умер ровно через год после признания, успев произнести перед смертью одно неотчётное слово — слово, которое Марк выписал в столбик и которое, если сложить первые буквы, давало...

Он остановился. Он уже складывал этот столбик вчера, и позавчера, и позавчера, и каждый раз получалось одно и то же — простое, старое, неопровержимое слово, которое Марк гнал из головы, потому что оно было слишком очевидным, слишком простым, слишком — он боялся этого слова — слишком настоящим.

Первые буквы слов складывались в: «Г-А-В-В-А-Х». То самое слово, которое сказал умирающий Ребров. То самое слово, которое прозвучало из выключенного телефона. То самое слово, которое Ирина объяснила ему вечером, — слово, означающее пищу того, кто под миром.

Марк сидел на кровати, держа лист со столбиком, и смотрел на эти шесть букв, сложенных из первых букв посмертных слов двенадцати людей, — и ему было холодно, по-настоящему холодно, так, как не было холодно никогда, потому что он вдруг понял, что это не совпадение и не выдумка, а признание: признание, которое двенадцать человек, умирая, оставили ему — журналисту, который через девяносто лет прочтает их слова и сложит их в слово. Признание, которое они оставили не ему лично, а тому, кто будет искать.

И оттого, что он понял это, ему стало ещё холоднее: он понял, что не они оставили ему это признание, а он — пришёл за ним, как приходят за тем, что предназначено, — и что всё это время, все четыре дня, все четыреста страниц его жизни — он шёл не сам, а его вели, — и что тот, кто вёл его, стоял сейчас за его плечом, в темноте, в тишине, на самом краю слышимости, и дышал ровно, терпеливо, бесконечно.

Марк собрал листы, положил их в ранец. Он не стал гасить лампу — она была его, его собственная, и пахла его квартирой, — но он знал, что свет этот теперь не его: свет теперь общий, у всех один, и тот, кто стоит за плечом, видит его так же ясно, как он сам.

В четыре часа он услышал, как в комнате Ирины скрипнула кровать, и через минуту — шаги в коридоре: сухие, ровные, командирские. Он встал, взял ранец, вышел в коридор. Ирина стояла у выхода, одетая, с рюкзаком за плечами, а у её ног, в куртке и шапке, с маленьким школьным рюкзачком, стояла Аня.

— Доброе утро, — сказала Аня, и в голосе её, ровном, спокойном, недетском, Марк услышал не приветствие, а подтверждение: мы идём, мы знаем, что идём, — и в этом знании, в этом ровном, спокойном ритме было что-то от дыхания, которое шло из-под пола.

Они вышли на улицу. Город спал — ночным сном, без электричества, без портретов, без улыбок, — и в серой предрассветной мгле, в морозном воздухе, в тишине, из которой ушла боль, — Марк, идя между Ириной и Аней к станции, вдруг поймал себя на том, что смотрит по

сторонам — ищет глазами портрет, ищет улыбку, ищет ту плакатную надпись, которую видел на каждом заборе по пути сюда: «КЛЕЙМО. МИР БЕЗ БОЛИ». Портретов не было. И оттого, что их не было, Марку было не легче, а тяжелее: он знал, что портреты есть везде, где есть стены, и что здесь, в этом городе, их нет — не потому, что их здесь не поставили, а потому, что здесь, под горой, есть кто-то, кто не любит чужих портретов на своей земле.

Они сели на автобус, идущий на восток, потом на поезд, идущий в Москву, — и Марк, сидя у окна, смотрел, как за стеклом проплывает страна: не та, что показывали по телевизору, не та, что стояла очередями у аппаратов с искусственным снегом, а настоящая — серой, зимней, усталой, — и как на каждой станции, на каждом столбе, на каждом заборе — снова появляются портреты. Сначала редко, как появляются деревья на подступах к городу, — потом всё чаще, всё гуще, всё одинаковее, — и к подъезду к Москве портреты стояли уже на каждом заборе, на каждом вагоне, на каждой бетонной плите, — все с одной и той же улыбкой, с одной и той же надписью, с одним и тем же ровным, терпеливым, бесконечным выр

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.